

ФИЛОСОФСКИЕ ДИАЛОГИ

О. М. Ноговицын

ПРЕДЧУВСТВИЕ РЕЧИ, ИЛИ ОДНА НЕОКОНЧЕННАЯ ВОЛШЕБНАЯ ИСТОРИЯ

I

Удав лежал на плоском камне и грелся на солнце. К нему подскочила Мартышка¹.

— А... Вот он ты! – сказала Мартышка. – И что ты тут делаешь?

— Думаю, – твердо ответил Удав.

— Что ты делаешь? – удивилась Мартышка.

— Думаю, – повторил Удав.

— А как ты это делаешь?

— Очень просто. Если хочешь, давай думать вместе, – предложил Удав.

— Хочу, давай! – загорелась Мартышка. – А что надо делать? Давай скорее начинать думать!

— Думать – это все-таки не так просто, – наставительно сказал Удав. – Прежде всего, думать – это не смотреть, не слушать и не нюхать, а думать!

— Почему? – удивилась Мартышка. – Когда я смотрю или нюхаю что-то, я думаю.

— Правильно. Когда ты смотришь или нюхаешь, ты *еще* и думаешь. Чаще всего о том, на что ты смотришь и что нюхаешь. Но думать – не то же самое, что смотреть или нюхать.

¹ Персонажи и первая фраза заимствованы из сказок Г. Остера.

— Значит, я не умею думать, – огорчилась Мартышка. – Потому что я думаю только о том, что я вижу, слушаю или нюхаю.

— Ерунда, – отрезал Удав. – Скажи, ты ведь умеешь считать?

— Конечно, умею.

— И ты понимаешь, что такое, например, «два»?

— Понимаю.

— Ты действительно хорошо понимаешь, что такое «два»?

— Ну, конечно. – Обиделась Мартышка. – Глупая, что ли?

— А ты согласна с тем, что если что-то хорошо понимаешь, то можешь это объяснить другим? – хитро спросил Удав.

— Если я что-то знаю, я точно могу это объяснить кому угодно, – отчеканила Мартышка. – И последний раз говорю: не держи меня за идиотку!

— Хорошо, – сказал Удав, – тогда объясни мне, что такое «два».

— Ну, «два» – это, например, два дерева.

— Очень хорошо, – сказал Удав, – но разве я спрашивал тебя, что такое «два дерева»? Я ведь спрашивал, что такое «два»?

— Ну, тогда «два» – это два человека, – начала Мартышка, запнулась и почувствовала недоброе.

— Разве я спрашивал тебя, что такое «два человека»? Я только просил тебя объяснить, что такое «два», если ты так хорошо это понимаешь.

— Я... не могу, – упавшим голосом сказала Мартышка, и внутри у нее похолодело.

— А почему ты не можешь? – продолжал допытываться Удав.

Мартышка потупила взгляд, помолчала и ответила раздельно: «Я не знаю почему».

— А я тебе объясню! – весело и добродушно заявил Удав. – Ты не можешь объяснить, потому что когда ты понимаешь

«два», ты себе *ничего не представляешь*: ни два дерева, ни двух человек. Ты просто *понимаешь*, что «два» – это «два».

— Совсем ничего не представляю?

— Совсем ничего.

— Не может быть! А что значит представлять? – Мартышка ничуть не поверила Удаву, но ей стало любопытно.

— Представлять – это или видеть, ну, или слышать, или нюхать – ты понимаешь – или вспоминать то, что ты видела, или воображать что-нибудь. Например, ты видишь два дерева и думаешь: «два». Или думаешь «два» и вспоминаешь два каких-нибудь дерева. Или думаешь «два» и воображаешь что-нибудь, хоть двух русалок.

— Вот именно так я и делаю, – заявила Мартышка.

— Конечно, – согласился Удав. – Но когда ты так делаешь, ты ведь понимаешь, что «два» – это не то же самое, что два дерева?

— Вообще-то, понимаю.

— И что «два» – это не две русалки и что бы ты там себе ни представляла. «Два» вообще не представление.

— Наверное.

— А если ты отличаешь «два» от всяких своих представлений, значит ты можешь мыслить «два» без представлений, то есть ничего не видя, не вспоминая и не воображая. Просто мыслить «два».

— Ты думаешь, я могу? – изумилась Мартышка.

— Попробуй.

Мартышка зажмурилась, заткнула уши и даже перестала дышать.

— А ведь и правда, я хорошо понимаю, что такое «два», даже если ничего себе не представляю, и в голове у меня совершенно пусто.

— В голове у тебя не пусто, – Удав назидательно поднял брови, – в голове у тебя мысль. Пусто у тебя в голове потому, что в ней нет никаких образов – ты ни на что не смотришь, ни о чем не вспоминаешь и ничего не воображаешь. Но это

не значит, что ты не мыслишь. Наоборот, когда нет образов, тогда думать легко и приятно.

— А приятно-то почему?

— А что доставит тебе большее удовольствие – когда тебя засунут в мешок и заставят бежать или когда можно бегать без помех?

— Конечно, без помех.

— Вот и мысль – это просто одна из твоих способностей, как способность бегать или смотреть. Но думать и одновременно быстро бежать не очень удобно, потому что это разные занятия. А ты сама сказала, что думать «два» и видеть два дерева – не одно и то же. Поэтому доставь себе удовольствие – думай без помех.

— Попробую, – меланхолично протянула Мартышка, уже не зажмуриваясь и ровно дыша. – Вот я мыслю «два», а потом мыслю «три» и ничего не вспоминаю и не воображаю. То есть хочу – воображаю, а хочу – нет. Хочу посмотреть на два дерева и посмотрю, а думаю все равно «два», а не два дерева. Смешно!

— А смешного-то что ты тут нашла?

— А то, что я жила-жила и не знала, что умею думать. Слушай, а может я еще что-то умею? Летать, например.

— А ты все-таки глупая, Мартышка, – Удав посмотрел на Мартышку без всякого интереса. – Ну, зачем тебе что-то новое, если ты не знаешь того, что у тебя есть?

— И правда, не знаю, – согласилась Мартышка, на этот раз без обид. – А как же все-таки так получается, что я что-то умею и даже делаю, и сама ничего не знаю об этом?

— Это как раз легко объяснить, – отозвался Удав, сохраняя то же несколько странное выражение – то ли оценивающее, то ли безразличное. – Дело в том, что ты обращаешь внимание только на внешние предметы: вот дерево, вот человек, вот банан. В этом весь твой интерес. Даже к числам ты относишься так, как будто это независимо от тебя существующие предметы, которые можно складывать и вычитать. Ты знаешь, что такое «два» – и этого тебе достаточно. Но что

значит знать? Что именно ты знаешь, когда знаешь «два»? Этого вопроса ты себе никогда не задавала. И, правду сказать, это свойственно мартышкам.

Удав передохнул и сглотнул слюну.

— Слушай, Удав, – прищурилась на него Мартышка. – Я у тебя и такая, и такая... Может, ты меня сожрать хочешь от того, что я мартышка?

— Ладно, Мартышка, – смягчился Удав. – Это и в самом деле необычное занятие: смотреть как бы внутрь себя. Для него есть даже специальное слово... Забыл...

— Рефлексия, – каркнул вдруг сверху хриплый голос. Удав и Мартышка сначала подпрыгнули от неожиданности, а затем задрали головы. На соседнем дереве, на ветке прямо над ними сидел Попугай. Ему и был обязан подсказкой Удав.

— Откуда ты взялся? – в один голос воскликнули Мартышка и Удав.

— Я тут давно сижу и слушаю. Хотя и ничего не понимаю, – сказал Попугай без всякого выражения, просто констатируя факт.

— Но если ты ничего не понимаешь, – даже как-то возмущился Удав, – то откуда ты знаешь про рефлексию?

— Я знаю все слова, – снова констатировал Попугай.

— Но мало знать слова – нужно понимать, когда их употреблять, – настаивал Удав. – Почему ты именно сейчас сказал про рефлексию?

— Видите ли, – Попугай почему-то обращался ко всем присутствующим, хотя спрашивал его только Удав, – я знаю, что когда говорят «смотреть внутрь себя», это называется рефлексией. Но я совершенно не знаю, как смотрят в себя.

Удав был потрясен. Даже Мартышка открыла рот от изумления.

— Ладно, – сказал Удав, – тогда сиди и следи за правильным употреблением слов.

— Я и слежу, – ответил Попугай. – ты, Удав, неправильно употребил слово «представление». Представлениями называют «вторичные образы», то есть память и воображение. А

«первичные образы», то есть живые впечатления, так не называют. А ты назвал представлениями все образы без разбора.

— Ты, Попугай, следи, а не ябедничай, – смущенно проворчал Удав. – Ведь суть дела от этого не изменилась.

— Об этом я судить не могу, – парировал Попугай.

— Он не может, – поддержала Попугая Мартышка, укоризненно посмотрев на Удава.

— Хорошо, постараюсь в дальнейшем быть внимательным, – окончательно сломался Удав. Он немного покрутил головой, стараясь примириться с присутствием Попугая, а затем снова повернулся к Мартышке.

— Так вот, дорогая моя Мартышка, – узнав о существовании Попугая, Удав испытал прилив нежности к Мартышке, – займемся рефлексией и зададимся вопросом: что именно я знаю, когда знаю «два»? Оказывается, я могу знать «два» двумя разными способами. Я могу увидеть два дерева или услышать два каких-нибудь звука. В этом случае число два будет для меня предметным, то есть неотделимым от вещей. Так понимают числа все, кто только начинает учиться считать. Ты и сама это знаешь, дорогая Мартышка. Когда в детстве тебя учили считать, тебе сначала давали предметы: одна палочка и одна палочка будет две палочки; один кружок и один кружок будет два кружка. Но очень скоро ты отбросила эти палочки и кружки, и сказала: я и так, без всяких предметов понимаю, что один и один будет два. А это уже совсем другой способ понимания числа, когда не нужно ни смотреть, ни слушать, а только думать. У тебя появилась мысль, или идея, числа «два» так же, как и других чисел.

— Да не появилось у меня никакой мысли, – чуть покраснев, призналась Мартышка. – Я просто вызубрила таблицу сложения.

— Нет-нет, – запротестовал Удав. – Просто вызубрить ты могла бы, даже и не учась сперва считать предметно, на палочках и кружочках, а сразу усвоив правила употребления слов: «один», «два», «плюс» и «равняется».

— Правила языковой игры, – обобщил не без гордости Попугай. – Такое образование получил, например, я.

— Да, именно *игры*, – подтвердил Удав. – И научившись в неё играть, ты так бы и не узнала, как соотносится эта игра с реальностью. Уверенно говоря: «один плюс один равняется двум», ты бы не понимала ни что значит «один», ни что значит «два». То есть не знала бы *значения* этих слов.

— Ну, значит, я и теперь его не знаю, – озадачено вздохнула Мартышка. – Или что значит, по-твоему, «знать значение» слова? Если умение его определить, то я ведь знала бы, даже просто вызубрив таблицу, что «два» – это «один плюс один». А сверх того я о сверхчувственной двойке и теперь не знаю ничего.

— Тут можно использовать красивое греческое слово «эйдос», – встрял Попугай.

— Господи, он еще и эстет, – вздохнул Удав. – Хорошо, пусть будет эйдос. Важно понять, что идея, или эйдос – это «чистая» мысль, «чистая» в том смысле, что она лишена всякой образности; мы не чувствуем эйдос, а мыслим его.

— Красота, – восхитилась Мартышка, – и как же мне нравится заниматься этой рефлексией! Я согласна, что я умею считать и не пользоваться предметами – с этим я закончила еще в детстве, – а если захочу, то могу считать предметы – это тоже бывает важно. А давай один счет назовем «чистым», а еще лучше, эйдетическим, а другой предметным.

— Ты что, сговорила с Попугаем?

— А что, хорошо звучит... – Мартышка притихла на некоторое время, а затем снова встрепенулась. – И что же получается, Удав? Что у меня две жизни: я то думаю, то чувствую, то опять думаю. Получаются две Мартышки...

Мартышка так глубоко ушла в рефлексию, что ей и в самом деле показалось, что она разделилась на две совершенно разные Мартышки. Одна ничего не ощущала, летала где-то высоко-высоко среди бестелесных и сверхчувственных «двоек», «троек» и «шестерок» и сама была какая-то бестелесная, так что и Мартышкой ее было трудно назвать. А дру-

гая была земной, из плоти и крови, которая все видела и слышала и без устали пересчитывала предметы: два дерева, три дерева, пять бананов, семь бананов. И еще показалось Мартышке: когда она думает эйдосы, например, думает «два», то она думает о *себе*; а когда думает про два банана, то думает о том, что вне нее, о *внешнем мире*. Получалось, что из двух образовавшихся мартышек одна думала только о себе, а другая – только о внешних предметах. Мартышка была внутри себя и снаружи себя.

Совсем плохо стало Мартышке.

И как сквозь сон она слышала голос Удава:

— Что же тебя удивляет, Мартышка? Давно известно, что у тебя есть душа и тело. Душа сама бестелесна и мыслит бестелесные сущности, а тело видит и слышит, обоняет и осязает, то есть создает чувственные образы вещей.

— А что, «душа» и «мысль» одно и то же? – спросила изнемогающая Мартышка.

— Об этом лучше спроси у Попугая, – на этот раз дружелюбно предложил Удав.

— Мои любимые древние греки, – пропел Попугай (в Мартышкином сне его голос почему-то был не хриплый, а нежный, как у свирели), – употребляли слово «душа» и «разум» как синонимы, обозначающие способность мыслить.

— И не только числа, – продолжал Удав, – бывают предметными и бестелесными, но и все смыслы, которые ты знаешь. Например, ты знаешь, что бывают красивые жирафы, красивые деревья, красивые глаза или волосы. Но ты знаешь и идею красивого, и когда ты сознаешь «красивое», ты же не обязательно представляешь себе красивые глаза или красивого жирафа, ты мыслишь *идею* красивого, красоту как таковую. Или камень: камни бывают большие и маленькие, твердые и крошащиеся, желтые и красные. Но когда ты мыслишь идею «камень», ты мыслишь не какой-то определенный камень, а камень как таковой, и твоя идея бестелесна, в ней нет образов.

— Философы употребляют слово «сущий», – вставил Попугай: сущий камень, сущий дом.

Мартышка ужаснулась еще больше. Теперь ее душа вращалась не только среди бестелесных «двоек» и «троек», но и среди сущих камней и сущих жирафов. Сверхчувственная красота сверхчувственно улыбалась ей. Самым пугающим было то, что Мартышка никак не могла выйти из этой раздвоенности, из двух мартышек сложить одну.

— Я все понимаю, дорогой Удав, – она слышала себя как будто со стороны. – Скажи мне только одно: к какой Мартышке ты обращаешься? Потому что меня теперь две.

В отличие от расслабленной Мартышки, Удав от долгой своей речи так разгорячился, что готов был объяснить все, что угодно.

— Не совсем так, любезная Мартышка. Ты действительно мыслишь идеи без помощи чувств. Но когда ты воспринимаешь чувственный предмет, ты не просто воспринимаешь его, а вместе с тем понимаешь, что он определенным образом связан с идеей. А именно, он *пример* идеи. Предположим, ты смотришь на красивого жирафа. Тогда ты не просто видишь красоту жирафа, а одновременно понимаешь, что красота жирафа это пример красоты как таковой. То же самое ты понимаешь, когда видишь красивый дом. А ведь красота дома – совсем другая красота, чем красота жирафа. Но обе они – воплощения сущей красоты.

Мартышка даже пожалела, что Удав это проговорил. Каким бы пугающим не был ее сон, он в то же время был и завораживающе чудесен. А теперь он вдруг закончился. Идеи воссоединились с вещами. Бегающий рядом жираф превратился в воплощение сущего бестелесного жирафа, а два рядом растущих дерева – в пример сущей «двойки». А вслед за этим и две разные Мартышки слились в одну, которая все, что видит и слышит, воспринимает как примеры своих мыслей. Можно созерцать «чистые» идеи, а можно воплощать их в конкретные вещи.

— Ты что, сразу не мог все объяснить? – закапризничала слегка разочарованная Мартышка.

— Извини, мой друг. Я не думал, что ты такая восприимчивая, – галантно извернулся Удав.

II

В сущности они остались довольны друг другом. Но тут своим обычным голосом проскрипел Попугай.

— Я ничего не понял.

— И слава Богу, – спокойно заметил Удав.

— Да, – несколько извиняясь, заторопилась Мартышка, – тебе и не нужно понимать, ты ведь только за словами следишь.

— В том-то и дело, что такого слова нет, – заявил Попугай.

— Какого слова нет? – удивилась Мартышка.

— Слова «воплощение»

— Как это нет, – возмутился Удав, – в словаре, что ли, нет?

— В словаре оно есть, но имеет мистический смысл. Или метафорический, – бесстрастно сообщил Попугай.

— Мистический... – оторопело протянул Удав.

— Ты что тут, магией занимаешься? Ты, между прочим, говорил, что думаешь, – неожиданно ополчилась на Удава Мартышка.

— Да, я думал... – Удав явно был в нокауте.

— Индюк тоже думал! – разошлась Мартышка и чуть не показала Удаву язык.

— Ну погоди... – взмолился Удав.

— Нет, – отрезала Мартышка. – Я уже один раз попробовала подумать, и что? Я чуть не умерла! Ты меня раздвоил! А теперь оказывается, что не можешь соединить меня обратно. Вместо этого придумал какое-то дурацкое «воплощение»... Да я после этого вообще никогда больше думать не буду! Вообще не буду думать! – отчеканила Мартышка.

— Как это? – не понял Удав.

— А вот так. Не буду – и все.

— Совсем-совсем не будешь?

— Совсем-совсем!

— А что, – вдруг оживился Удав, – давай, попробуй.

— Что попробуй? – теперь уже не поняла Мартышка.

— Совсем не думать.

— Как это? – Мартышка снова почувствовала недоброе, но отступить было поздно. – То думай, то не думай, – проворчала она.

— Это очень легко, – продолжал вновь воодушевившийся Удав. – Просто убери из своего сознания все смыслы, которые в нем есть. Например, «банан» – это слово ведь что-то значит, то есть имеет смысл. А теперь представь себе, что ты *не знаешь*, что значит «банан» – забыла, а лучше вообще никогда не знала. Можешь?

— Могу, – пожала плечами Мартышка.

— А теперь представь, что ты не знаешь, что такое «дерево», «дом», «два», не знаешь цветов, то есть не понимаешь, что такое «красное» или «синее», запахов – вообще ничего не знаешь. Постарайся посмотреть на мир так, как будто ты ничего не понимаешь, а только смотришь. Попробуешь?

— Попробую, – ответила увлеченная новой игрой Мартышка и широко открыла обесмыслившиеся глаза.

— А не надо бы, – совершенно неожиданно проговорил Попугай.

Мартышка даже не услышала его, а Удав резко обернулся к Попугаю.

— Чего не надо? – после недавних событий Удав уже не мог игнорировать Попугая. – О чем ты говоришь?

Попугай почему-то промолчал.

Удав раздраженно крикнул и, тут же забыв о Попугае, повернулся к Мартышке. Мартышка все так же стояла, раскрыв бессмысленно глаза, потом зажмурилась, потом снова округлила глаза.

Некоторое время все молчали.

И вдруг тишину разорвал истошный вопль Мартышки.

— А-а, – вопила она, – а-а, нет!

— Что «а», что «нет»? – всполошился Удав.

В глазах у Мартышки теперь стоял ужас. Казалось, она хочет что-то сказать и не может найти слов.

— Это... это... – Мартышка перешла на шепот.

— Это – хаос, – веско каркнул Попугай.

Для Удава это было слишком. Он даже забыл об исполненной ужаса Мартышке.

— Откуда ты знаешь? Как ты мог знать об этом заранее? Как ты вообще можешь о чем-то догадываться?

— Хаос – это отсутствие всякой определенности, – Попугай по-прежнему был весок и бесстрастен.

— Да, да, да! – выходил из себя Удав. – Хаос это отсутствие определенности. Но все равно, чтобы о чем-то знать заранее, надо это понимать!

— В хаосе нечего понимать, – добил Попугай Удава, – поэтому я так же понимаю хаос, как и ты.

Удав понял, наконец, что сделал и бросился к Мартышке.

— Мартышка, дорогая, вернись! Ну, вспомни хоть какой-нибудь смысл. Вот, смотри, – Удав хвостом сорвал с ветки банан и сунул под нос Мартышке, – это банан. Раньше ты знала, что такое банан. Вспомни, пожалуйста, то, что ты знала. Смотри еще: банан желтый. Ты знаешь, что такое «желтый»? А еще какие цвета бывают?

Потихоньку Мартышка возвращалась к жизни. Ужас в ее глазах сменился осмысленностью. Но пережитое не отпускало ее.

— Никогда так страшно не было, – снова вздрогнула Мартышка. – Что-то есть, но ты не можешь ни назвать, ни понять это. Какие-то впечатления, но бессмысленные и несвязанные. Страшнее всего, что оно – есть, но ты не можешь понять, что оно. Понимаешь только, что сама исчезаешь в нем.

Мартышка помолчала, а потом пристально и как-то строго взглянула на Удава.

— Так что же делать, Удав? Получается, когда думаешь, уносишься от жизни, от вещей в мир эйдосов и не знаешь, как вернуться. А когда не думаешь, вещи вообще исчезают, и ты оказываешься в хаосе.

— А разве ты не поняла, что с тобой случилось? – загадочно произнес Удав.

— А разве ты не достаточно поиздевался уже надо мной, разве не достаточно?! – взорвалась Мартышка. – Ты же сам сказал мне ни о чем не думать, а теперь спрашиваешь, поняла ли я, что произошло!

Попугай снова вмешался в беседу. Почему-то все, что делал Попугай, было неожиданным. На этот раз Попугай расхохотался. Оказывается, он понимал противоречие.

— Действительно, – кротко вздохнул Удав, – ничего глупее сказать невозможно. – Но теперь-то ты можешь понять, что с тобой случилось, когда ты ничего не понимала. Ты выбросила из головы все смыслы и получила хаос, то есть мир стал *бесформенным*. Мир был, но в нем не было порядка. Значит, что делает смысл? Вносит в мир порядок! – с торжеством закончил Удав.

— Это что же, – протянула изумленная Мартышка. – Значит, когда думаешь, не нужно никуда улетать от мира, а совсем наоборот.

— Именно наоборот! – даже не воодушевился, а прямо-таки воспламенился Удав. – Мысли существуют не отдельно от мира, а в самом мире. Мысли превращают хаос в осмысленный, *оформленный* мир.

— Значит, хаос не так страшен? – хмыкнула Мартышка.

— Конечно, нет: мы ведь знаем, что с ним делать, – уверенно заявил Удав.

— Замечательно, – вздохнула Мартышка и сникла. – Знаешь, Удав, я за последнее время столько пережила и так устала, что смертельно хочу спать.

Не в силах идти, Мартышка вскарабкалась на ближайшее дерево, устроилась на большой ветке и уснула.

III

И приснилось Мартышке, что попала она в чудесный мир, где было только два цвета: красный и синий. Где красные зебры скакали по синему песку, а потом наоборот – синие зебры по красному песку. Где синие кокосы качались на

красных пальмах, а потом сами кокосы делались один красным, а другой синим.

И от того, что было только два цвета, все выглядело таким ярким и отчетливым, что у Мартышки захватило дух от восторга.

Но вдруг что-то переменялось. Мартышка не сразу поняла, что именно. А потом догадалась: синего цвета становилось все меньше, он меркнул, гас и уступал место красному. Все становилось красным: и зебры, и песок, и кокосы, и только на самом краю зрения еще ютилась узкая полоска синего, и на огромном бескрайнем красном полотне изредка попадались небольшие синие пятна.

Но странное дело: вместе с синим цветом исчезали вещи. Зебры уже не неслись по песку. Не было ни зебр, ни песка, ни кокосов. Оставался один только красный цвет.

И тогда Мартышка поняла, что сам красный цвет существует потому, что по краям его виден синий. Что же случится, если синий цвет совсем исчезнет, все станет красным? И такой момент наступил. И в этот самый момент, когда остался один красный цвет, он тоже исчез, и все исчезло. Мартышка совсем перестала что-либо видеть, как будто лишилась зрения.

Мартышка вскрикнула от страха, проснулась – и изумилась. Она снова была в том же ярком двухцветном мире. Снова красные кокосы оттеняли синие ветки. И снова с этим миром что-то произошло. На этот раз случилось следующее: стали зыбкими все границы красного и синего, и вместо так веселивших глаз линий возникло движение – красное превращалось в синее. Но, хотя красное возникало, а синее исчезало, красного не становилось больше, а синего меньше. Одно просто перетекало в другое. Вещи утратили твердую форму и вскоре совсем исчезли – осталось только превращение одного цвета в другой.

Мартышка не очень удивилась: она уже знала, что один цвет необходим для другого. Вглядываясь в это непрерывное и все ускоряющееся движение, она прошептала ошелом-

ленно: «Синее – это возникающее красное, а красное – исчезающее синее. Одно – это другое».

Поток между тем убыстрялся и, в конце концов, цвета перестали отличаться один от другого. Мартышку снова охватила полная слепота.

— Боже, и я уснула, чтобы отдохнуть от всего этого, – простионала Мартышка. Она боялась теперь не своей слепоты, а опять проснуться в постылом красно-синем мире. Увы, это произошло, она снова оказалась в нем и уныло озиралась на синие пальмы и красный песок. И снова с миром что-то произошло: теперь исчезал красный цвет, а синий все разрастался и занимал все пространство. Все было так же, как в первом сне, только цвета поменялись местами.

Но какая разница! Мартышка точно знала, что когда исчезнет красный, исчезнет и синий цвет, и снова будет пустота. С тоскливой усталостью она ожидала неизбежного, но когда это произошло – исчез красный цвет и остался один синий, – случилось неожиданное. Мартышка вдруг поняла, что *она сама была границей синего цвета*. И за этой границей не было *ничего*.

В то же мгновение синий цвет перестал быть синим и стал белым – просто светом, сияющим из полной непроницаемой темноты.

— Я, это я – граница света, – забыв о своей грусти и усталости, в восторге завопила Мартышка – и проснулась. И теперь, кажется, проснулась окончательно, потому что, открыв глаза, увидела Удава, который участливо смотрел на нее.

— Ну, и что это было? – спросила Мартышка так, как будто Удав обязан был знать ее сон. Но Удав ответил как ни в чем не бывало:

— Если ты о первом сне, то я думаю, это своего рода обличье хаоса.

— А при чем тут хаос?

— Ну как же. В твоём сне исчезла граница, и ты перестала видеть и понимать. Перед тобой было что-то, но ты не знала *что*.

— Это было ужасно!

— Да, но не так, как сам хаос.

— Правда, – согласилась Мартышка, – это был другой, совсем не страшный страх. А почему?

— Потому что твой сон – только умственно построение, фантазия, которую ты сама придумала. Она показывает, что будет с миром, если исчезнут границы и формы. Ты ведь знала, что если исчезнет синий цвет, то исчезнет и красный.

— Догадывалась, – снова кивнула Мартышка. – Значит, я думала о границе, и мне приснился такой сон...

— И очень неглупый сон, – похвалил Удав. – Я даже лучше стал понимать, зачем нужна граница.

— Определить значит ограничить! – снова перепугав всех, подытожил Попугай.

Удав только вздохнул.

IV

Зато Мартышка посмотрела на Попугая так, как будто увидела в первый раз.

— Получается, что думать – это проводить границы? – насмотревшись на Попугая, обернулась Мартышка к Удаву.

— Конечно, – сказал Удав.

— И все цвета, звуки, запахи существуют потому, что существуют границы?

— Ну, да.

— А если не будет границ, будет хаос?

— Да.

— Но граница ведь не то же самое, что цвет или запах?

— Совсем нет. Цвет и запах появляются *благодаря* границе. Хаос ведь – не ничто. Хаос – это неразличенность, отсутствие формы. А отличать значит разграничивать. Благодаря границе красное делается красным, а синее – синим.

Мартышка вспомнила красно-синий мир в своем сне и даже рассмеялась от удовольствия.

— Вот представь себе, – продолжал Удав, – что перед тобой хаос: что-то есть, но ты не можешь ничего различить – ни увидеть, ни услышать.

Ничуть не испугавшись на этот раз, Мартышка весело кивнула.

— А теперь представь, что ты пытаешься что-то разоб-
раться в хаосе впечатлений, например, что-то увидеть. Что ты
увидишь первым?

— Свет, – не задумываясь ответила Мартышка.

— А если будет один только свет, ты увидишь его?

— Нет, – так же легко сказала Мартышка. А затем выпала:
– Чтобы увидеть свет, нужна тьма!

Слово «тьма» Мартышка выговорила с особым вкусом,
явно гордясь своей осведомленностью.

— Именно, – согласился Удав. – Чтобы был чистый свет,
нужно, чтобы рядом была совершенная темнота, полный мрак.

Теперь Мартышка и Удав как будто играли в странную
совместную игру и с таинственным недоумением уставились
друг на друга. Из оцепенения их вывел голос Попугая:

— Тьмы не существует, – сообщил он.

— Не существует? – переспросила Мартышка. – Что,
опять нет такого слова?

— Слово есть. Но оно ничего не значит.

— И даже ничего мистического или метафорического?

— Вообще ничего.

— Как это?

— Тьма – это отсутствие света и вообще чего-либо види-
мого. Видеть тьму – все равно, что совсем ничего не видеть, –
отчеканил Попугай.

— Правильно, – подхватил Удав. – Мы и не видим тьму, а
видим свет. – И все-таки, что же такое тьма? – обратился он к
Мартышке.

Мартышка окончательно растерялась и только часто за-
моргала. Ей то казалось, что она видит то, чего нет, то вооб-
ще ничего не видит.

— Ну же, – подгонял Удав. – Это как в детской загадке:
без него не видишь и его не видишь. Что это?

— Граница, – вдруг догадалась Мартышка. – Тьма – гра-
ница света.

— Умница, – искренне похвалил Удав. – Только так мы и можем видеть, когда одно становится границей другого.

— Но ведь тьмы нет, – не хотела сдаваться Мартышка.

— Тьмы *не видно*, – наставительно протянул Удав. – То, чего не видно, служит границей тому, что видно.

— И так со всем остальным?

— Конечно. Когда ты смотришь на синее рядом с красным, то видишь синее, а не красное или, наоборот, красное, а не синее. Таков самый первый способ внедрения формы в мир. Так-то.

— Но послушай, Удав, – вдруг всполошилась Мартышка, – ведь если тьма *является* границей света, то мы видим один свет, и *рядом со светом ничего нет!*

— Да, – спокойно согласился Удав, и так видит младенец. Сначала его взгляд блуждает среди бликов, не в силах ни на чем остановиться. И это действительно похоже на блуждание в хаосе. Остановиться, увидеть что-то – значит установить границу. И он делает это, превращая один цвет в границу другого.

— Ай да младенец! – восхитилась Мартышка. – Значит, когда он смотрит на что-то одно, все остальное для него не существует. Я так не могу...

— Так ты и не младенец.

— Да, – важно согласилась Мартышка.

— А теперь вспомни свой второй сон, – предложил Удав.

— Да, да, – взгляд Мартышки стал отрешенным, – это когда одно умирало в другом, а другое рождалось из этого одного, и оба они были одним и тем же. Было и страшно, и весело...

— Потому что это – еще одно обличье хаоса. Картина, которую ты сочинила, когда думала о мире без форм. Только теперь форм не было не в пространстве, а во времени. И опять все слилось в одно, и ничего нельзя было разобрать.

Мартышка помолчала, а потом встрепенулась.

— А кстати, Удав, откуда ты вообще узнал, что было со мной во сне?

— Очень просто, – улыбнулся Удав. – Ты разговаривала во сне.

— Но во сне я не разговаривала!

— Это во сне ты не разговаривала, а на самом деле ты проговаривала все, что с тобой происходило.

— А так бывает? – удивилась Мартышка.

— С тобой бывает, – отрезал Удав.

— Ну ладно, – вздохнула Мартышка, – во всяком случае, я была очень умная во сне. Вот, придумала два разных хаоса.

Теперь уже вздохнул Удав.

— Ты действительно была очень умная, – проворчал он. – Жалко вот, что проснулась... Ну какие два хаоса! Это только две придуманные картинки. Они показывают, что в хаосе есть возможность и пространства, и времени. И только мы сами устанавливаем границы так, чтобы одно было «рядом» с другим или одно «после» другого.

V

Мартышка с трудом, но вытерпела язвительность Удава.

— Ну хорошо, – сказала она. – Вот мы наставили границ и теперь можем видеть, слышать и вообще чувствовать. А что же потом?

— Погоди, Мартышка, не спеши так, – улыбнулся Удав, он понимал, что Мартышка торопит его нарочно, потому что дуется. – Сначала появляются самые простые формы: линия прямая и кривая, угол острый и тупой. Потом все более сложные...

— Это я понимаю! – оборвала неприступная Мартышка. Но Удав продолжал как ни в чем ни бывало:

— Самый важный момент – это когда формы становятся замкнутыми и появляются фигуры: треугольник, квадрат, круг. Тогда твое восприятие становится законченным, и ты можешь сказать, что действительно *что-то видишь* или просто *видишь*.

— Правда, – уже спокойно согласилась Мартышка и даже охотно повторила за Удавом: – я вижу!

— Видеть-то ты видишь, – не унимался Удав. – А вот что ты думаешь, когда что-то видишь?

— Как что? – удивилась Мартышка. – Я думаю то, что вижу. Вижу банан и думаю: «банан».

— А ты представь, что ты видишь что-то, но еще не знаешь, что это что-то – банан.

— Как это?

— Но ведь бывает так, что ты в первый раз видишь что-то, видишь, а не знаешь, что это такое.

— Бывает.

— И что ты тогда думаешь?

— Думаю, у кого бы спросить, что это такое?

Удав терпеливо прикрыл глаза.

— Ну, а если не у кого спросить, и ты просто смотришь и не знаешь, на что смотришь. Что ты тогда думаешь?

Мартышка и вправду задумалась, похлопала глазами, а потом выпалила:

— Тогда я вижу, но ничего не думаю!

— Что, совсем ничего?

— Кажется, ничего.

— Нет, Мартышка, – таинственно проговорил Удав, – когда ты что-то видишь, ты все-таки думаешь. И знаешь, что ты думаешь?

— Что? – почему-то шепотом спросила Мартышка.

— Ты думаешь то, *что* видишь! – заявил Удав. – Ведь ты видишь *что-то*. И думаешь, что видишь *«что-то»*. Ты не знаешь, *что* это: банан или попугай, но ты *знаешь*, что это «что-то».

— Вот это да! – Мартышка даже подпрыгнула на месте. А приземлившись, широко раскрыла глаза на Удава. – И что? Получается, что про каждую вещь я сначала знаю, что она что-то, а уже потом, что она банан или жираф?

— Можно сказать «что-то», а можно указать – «это» или «вот это». Или просто «вот!»

Мартышка с изумлением оглянулась вокруг себя и стала тыкать во все, что попадалось на глаза.

- Вот! Вот! Это! Это! Что-то! Что-то!
- А можно сказать «есть», – подзадорил Удав.
- «Есть» – еще лучше, – охотно подхватила Мартышка. – А можно сказать «вижу»?
- Можно, – одобрил Удав.
- Замечательно! Я знаю, что что-то есть, что оно – вот оно, и что я это вижу.
- Совсем не мало, – заметил Удав.
- Да... – задумчиво протянула Мартышка, – но послушай, Удав, ведь получается, что все вещи одинаковые!
- Ничего удивительного! Ведь ты не сравниваешь вещи и на каждую смотришь как бы заново. Вот и выходит, что о каждой вещи ты знаешь только то, что она есть.
- А вижу что?
- Если ты не сравниваешь вещи, то видишь то же, что и знаешь.
- Я вижу, что что-то есть, и ничего больше?
- Конечно.
- Чем же мое чувство отличается от моей мысли?
- Ничем. Я же сказал: ты чувствуешь и мыслишь *одно и то же*.
- Красота! – мечтательно сообщила Мартышка. – А знаешь, Удав, мне почему-то не хочется сравнивать вещи и заниматься прочей ерундой. Пусть остается все как сейчас: просто и ясно. Ничего, кроме *бытия вещей!*
- Только не вещей, а вещи, – Попугай, о котором уже забыли, как всегда неожиданно подал голос.
- Как ты сказал? – на этот раз удивился Удав.
- Бытие не вещей, а вещи, – монотонно повторил Попугай. – Бытие одно.
- Ну, конечно! – поддержала Мартышка. – Если ничего ни с чем не сравнивать и смотреть каждый раз заново, то в сущности видишь одну и ту же вещь. Или просто одну вещь!
- Удав продолжал смотреть на Попугая.
- Говоришь, бытия не бывает два? Действительно, получилось бы глупо... Значит, бытие одно.

— Кроме бытия может быть только небытие, – Попугай, видимо, взял за привычку без всякой жалости добивать Удава.

И Удав был добит. Он не находил слов и только молча смотрел на Попугая.

Зато Мартышка вся – от макушки до кончика хвоста – светилась воодушевлением.

— Это же замечательно, – тормозила она Удава. – Одна только вещь. И мы знаем о ней только то, что она существует. Бы-ти-е – и ничего больше, – скандировала легкомысленная Мартышка, – бы-ти-е, бы-ти-е!

— Действительно, красиво, – все еще не придя в себя от Попугаевых проделок, пробормотал Удав. – А ты помнишь, Мартышка, свой третий сон?

VI

— Помню, – Мартышка с трудом вернулась к своим давнишним снам, – это когда я была границей света...

— Ты понимаешь теперь, что это значит?

— Нет, не понимаю.

— Ну как же? Это значит, что ты осознаешь, что именно ты и являешься границей, или формой вещи.

— Ну и что?

— Как это что! – загорячился Удав. – Ведь раньше ты этого не понимала!

— Не понимала? – опять не поняла Мартышка. – Ведь и раньше я, а не кто-то другой, ставил границы между вещами.

— Ставить-то ты ставила, но получалось так, что вещи сами ограничивали друг друга; темнота была границей света.

— Да, получалось так, – согласилась Мартышка. – Это что же, значит, я опять что-то умею и даже делаю это, и не понимаю, что делаю?! – Мартышка даже подбоченилась от досады. – И ты опять скажешь, что это свойственно мартышкам!

— Мартышкам, не мартышкам, – ушел от прямого ответа Удав, – но в мысли всегда так. Одно дело, когда ты мыслишь и не сознаешь, что мыслишь. Тогда тебе представляется, что мир устроен без твоего участия. Скажем, ты искренне дума-

ешь, что числа – это свойства вещей, а про число «два» ты узнал от двух бананов. А еще ты думаешь, что вещи бывают белыми и черными, и черные оттеняют белые, а белые служат фоном для черных.

— И все это от небольшого ума, – угрожающе подсказала Мартышка.

— Да нет, совсем нет, милая Мартышка. Я бы назвал это естественным взглядом на вещи. Так смотрят на мир дети. Ребенок на самом деле видит белое на фоне черного – и не может иначе. Точно также он привязывает числа к вещам. Мы начинаем с того, что видим и слышим. А видеть и слышать – значит проводить границы и не знать, что проводишь границы.

— А потом?

— А потом ребенок узнает, что белое называется «белым», а черное – «черным», и становится взрослым, – пробормотал Удав себе под нос.

— Ты опять за свое! – вскинулась Мартышка. – Если ты еще раз...

Увидев виноватое выражение Удава, Мартышка не стала заканчивать мысль, скрепилась и только спросила грозно и отдельно:

— А если серьезно?

— А если серьезно, то, научившись видеть и слышать, мы учимся сознать, что границы и формы вещей – это мы сами.

— То есть занимаемся рефлексией?

— Именно. И если бы мы прежде не провели границы, нам нечего было бы рефлексировать.

— Ну хорошо. А при чем здесь мой сон?

— А вот при чем, – по своей привычке, желая сказать что-то важное, Удав значительно приподнял брови. – Дело в том, что если ты станешь осознавать себя в качестве формы, то *первой формой, которую ты осознаешь, будет форма «что-то», «вот», «есть»!*

Воодушевившись, Удав подчеркнул значение каждого слова не только голосом, но даже ударом хвоста и, замолчав,

победно взглянул на Мартышку. Мартышка внимательнейшим образом посмотрела на Удава. Так смотрят, когда на самом деле смотрят в себя и совершенно не видят того, *что* перед глазами. Постепенно недоумение на ее лице сменилось изумлением, а изумление – восхищением.

— Слушай, Удав, а ведь действительно! Если я – это форма, то эта форма – «вот». А почему?

— А что «почему»?

— Почему это самая-самая первая форма, которую я знаю?

— А потому, что твоя мысль уже ясно сознает форму восприятия, но при этом тождественна ему, полностью совпадает с восприятием. Ты мыслишь то же, *что* видишь.

— Ну да, мы же говорили об этом.

— Конечно. Но именно поэтому «бытие» является самой первой из форм.

— И моя первая мысль появляется потому, что я осознаю свою форму восприятия?

— Именно.

VII

— А все-таки, – заинтересовалась Мартышка, – как это получается, что мы думаем то же самое, что чувствуем?

— Для этого, наверное, нужно понять, что такое мысль и что такое чувство...

— Что такое мысль, я знаю. Мысль – это форма. А чувство... Да тут и понимать нечего – открыл глаза и смотри.

Удав с сомнением посмотрел на Мартышку и неторопливо похлопал себе кончиком хвоста по плоской голове.

— Ну, в каком-то смысле ты совершенно права. Ведь что такое глаза? Очень сложная линза. И какой бы сложной она ни была, все равно она – такая же вещь, как и другие окружающие нас вещи. Глаза, как и все наше тело, состоят из тех же элементов, что и внешние предметы.

Мартышка полюбовалась своим телом, заглянула, сколько могла, себе за спину и согласилась.

— Ну, в общем-то, да. А что, Удав, – подумав, спросила она, – тело и чувство – это одно и то же?

— Конечно. Мы ведь чувствуем всем телом: кожей, глазами, ушами. Телом воспринимаем запахи и вкусы. Тело – это наше чувствилище.

— Угу, – утробно одобрила Мартышка. Ей явно понравилось, что ее тело все – от головы до хвоста – занято делом. Но тут Мартышка как будто уперлась во что-то.

— Но послушай, Удав, если тело сродни внешнему миру и состоит из того же, что и мир, то как может быть, чтобы мы чувствовали то же самое, *что* думаем? Ведь мысли – это форма, а мир – совсем не форма, он создан формой. И как вообще тело может участвовать в познании вещей если тело – вещь?

Чем дальше говорила Мартышка, тем в большее изумление сама впадала. Казалось, она слушает себя и не верит своим ушам. Это выглядело так забавно, что Удав чуть не расхохотался. Но, боясь разобидеть Мартышку, сдержался и заговорил внятно.

— Тело состоит из тех же элементов, что и все вещи, дорогая Мартышка, но тело – не вещь.

— И как это может быть? – Мартышка по-прежнему оставалась в полном недоумении.

— Суди сама. Вот ты на что-то смотришь... На что ты сейчас смотришь?

— На дерево.

— Скажи, ты видишь дерево или твои глаза видят дерево?

— Я просто вижу дерево.

— То есть ты никак не ощущаешь, что видишь именно глазами?

Мартышка поморгала на пальму и сказала несколько неуверенно:

— Ощущаю.

— Ты хочешь сказать, что ощущаешь, когда моргаешь?

— Д-да.

— А если не моргаешь?

— Тогда я не ощущаю ничего, кроме дерева.

- Значит, самого *видения* ты не чувствуешь?
- Выходит, не чувствую.
- А когда слышишь что-нибудь, – Удав хлопнул хвостом по земле, – звук раздается у тебя в ушах?
- Конечно, нет.
- А где?
- Там, где звучит.
- Правильно. Значит, ты не чувствуешь, как твои глаза видят и как твои уши слышат. И так же обстоит дело с остальными органами чувств, то есть со всем телом.
- И с кожей? – засомневалась Мартышка.
- И с кожей. Возьми что-нибудь в руку. Ну хоть орех. Он какой?
- Твердый и теплый.
- Ты чувствуешь, что орех твердый и теплый или ты чувствуешь, что твоя кожа чувствует, что он твердый и теплый?
- Я чувствую орех, – теперь Мартышка поняла и с любопытством ожидала продолжения.
- А знаешь, что это значит? Это значит, что ты не чувствуешь своего тела и ничего не знаешь о нем. Для тебя твоего тела нет! – чем-то очень довольный возвестил Удав.
- Нет... – ошарашено повторила Мартышка. Но тут же взвилась от возмущения: – А это, это, это, – она тыкала себя в грудь, живот, хлопала по голове, потом взяла свой хвост и сунула под нос Удаву, – а это что, по-твоему?
- Это не тело, – невозмутимо заявил Удав.
- *Это не тело?* – Мартышка яростно потрясала хвостом перед Удавом.
- Конечно, нет. Мы же договорились, что тело – то, что чувствует. А когда ты берешь лапой свой хвост, то берешь его как вещь. Так ты можешь взять палку, камень или взять мой хвост, – Удав услужливо предложил Мартышке свой хвост. – Ты чувствуешь хвост ладонью, но ты не ощущаешь, что ладонь чувствует хвост. Ты можешь сколько угодно

смотреть на свой хвост, но не будешь чувствовать, как твой глаз видит твой хвост.

— Я могу чувствовать хвостом... – слабо возразила Мартышка.

— Правильно, ты можешь хвостом почувствовать свою ладонь или даже потрогать глаз. Но тогда уже ладонь и глаз превратятся в предметы, а хвост станет телом.

Мартышка долго молчала, стараясь переварить услышанное.

— Значит, тело, которое я *знаю*, не мое тело?

— Может, оно и твое, но оно не чувствующее, а значит, мертвое.

— Мертвое! – потрясенно повторила Мартышка. Она долго пристально смотрела на Удава, будто стараясь разгадать его настоящие, скрытые мысли, потом вдруг повернулась и исчезла.

Удав, по правде говоря, совершенно равнодушный к своему телу, а точнее, к внешнему его виду, ничего не понял и лишь растерянно смотрел на место, где только что была Мартышка.

— Ну и куда она умчалась? – обратился он к Попугаю за неимением другого собеседника. – И зачем?

— За рефлексией, – почему-то мрачно нахохлившись, отозвался Попугай.

— За чем!?! – не поверил ушам Удав.

Попугай хотел было что-то добавить, но взглянул вдаль и ограничился замечанием:

— Уже возвращается.

И действительно, вскоре появилась запыхавшаяся Мартышка, тащившая огромное и неизвестно откуда взявшееся зеркало. Она прислонила зеркало к пальме, встала перед ним и грозно обратилась к Удаву:

— Ты хочешь сказать, что это, – она показала на зеркало, – не я? Нет, ты хочешь сказать, что это я, но не живая, а мертвая. И сейчас самое время читать эпитафию. «Дорогая Мартышка, – торжественно обратилась Мартышка к зеркалу, –

как ты *была* прекрасна!» Это ты хочешь сказать? – она снова повернулась к Удаву.

— Но ведь так оно и есть, дорогая Мартышка, – Удав наконец понял, какую трагедию переживала Мартышка, и постарался как-то смягчить суровый смысл своих слов. – Ты смотришь на банан и говоришь «банан», смотришь на пальму и говоришь «пальма», смотришь на себя и говоришь «я». Но ты для себя – такой же чувственный образ, как банан и пальма. И вообще, – не удержался Удав, – надо меньше смотреться в зеркало.

Странно, но гнев Мартышки так же быстро пропал, как и появился. Она иронично покосилась на зеркало, потом на Попугая и вперила глазами в Удава, который ехидно выговаривал Попугаю:

— И напрасно ты тут намекал, что рефлексия означает отражение. Это только исторический смысл слова. На самом деле зеркало к рефлексии не имеет никакого отношения.

— Посмотрим, – таинственно ответил Попугай.

— И смотреть нечего, – отрезал Удав и обернулся к Мартышке.

VIII

— Итак, – встретила Мартышка взгляд Удава, – тело – это чувство, и мы ничего не знаем о своем теле. А почему мы ничего о нем не знаем?

— А потому, – так же пристально глядя на Мартышку, отчеканил Удав, – что тело – это форма вещей. Ум не сам вносит формы вещей в мир, а *посредством тела*. Когда ты видишь или слышишь, ты придаешь вещам ту форму, которую в этот момент мыслишь.

Глядя на Удава, Мартышка даже забыла о своем таком прекрасном и навсегда утраченном теле.

— И поэтому мы чувствуем вещи, а не свои чувства?

— Да, именно поэтому.

— Значит, когда я вижу что-то, я даю ему форму?

— Да.

— Значит, я создаю вещь?

— Да, когда ты просто смотришь или слушаешь, ты творишь мир из хаоса.

Мартышка помолчала, пытаясь взять в толк услышанное.

— Получается, что я творю не умом, а телом?

— Ну, как ты понимаешь, без ума дело не обходится. Именно ум превращает тело в форму, и без него тело было бы просто вещью.

Мартышка еще немного помолчала и задорно взглянула на Удава.

— Что же получается, Удав? Ум превращает тело в форму, придает телу ту форму, которую мыслит, тело придает эту форму вещи, и мы, получается, чувствуем то же самое, что мыслим. Правильно?

Удав открыл было рот, но неожиданно за него ответил Попугай:

— Душа и тело суть одно, – значительно каркнул он.

— Вот! – Мартышка одобрительно посмотрела на Попугая.

— Не обращай внимания, – поморщился Удав, – он только повторяет то, что слышал.

— Тело – форма, а душа – форма форм, – не унимался Попугай.

— Ну хорошо, – сдался Удав, – все действительно так.

— И что, так было с самого начала, когда еще тьма была границей света?

Удав наклонил голову набок и пытливо посмотрел на Мартышку. Он как будто затруднялся, как объяснить ей. Потом все-таки начал:

— Видишь, какое дело... Ум сознает тело, но это осознание проходит несколько этапов. Сначала сознание заключается в том, что ум *превращает* тело в форму, делает тело границей чего-то, например, света. Поэтому мы можем чувствовать, например, видеть. Наше тело видит потому, что *само* является границей. Поэтому оно одно видит, а другое не видит. Другое находится *за границей видения*.

— А саму границу мы не сознаем?

— Мы, то есть ум, превращаем тело в границу, но саму границу, то есть тело, еще не сознаем. Мы сознаем только *результат* того, что тело стало формой, то есть видим свет, ограниченный темнотой.

— Ага, – поняла Мартышка, – мы видим так, что у света просто есть граница. И даже не догадываемся, что граница – мы сами.

Удав склонил плоскую голову на другой бок и снова окинул Мартышку испытывающим взглядом.

— Есть еще один этап в осознании тела, который позволяет отделить границу света от самого света и помыслить границу так, как будто есть только граница и нет никакого света.

— Ну да! – только и смогла сказать вконец оторопевшая Мартышка.

— И очень просто, – невозмутимо продолжал Удав, – смотри.

Он провел кончиком хвоста прямую линию на песке.

— Когда мы чертим линию, мы думаем только о том, *что* мы чертим, и больше ни о чем.

Удав прочертил еще несколько линий. Мартышка внимательно проследила за хвостом Удава, а потом прошептала

— Я тоже думаю только о том, *что* ты чертишь.

— Вот! – Удав победно задрал хвост кверху.

— Нет, – вдруг всполошилась Мартышка, – верни, пожалуйста, хвост на место.

— Что? – не понял Удав.

— Порисуй им еще...

— Но зачем? – поразился Удав.

— Как только ты перестаешь чертить, я перестаю думать.

— Ты что, думаешь моим хвостом? – возмутился Удав. Он открыл рот, видимо, чтобы объяснить, что он думает об уме Мартышки, но так и замер с открытым ртом.

— Но я тоже, – с ужасом глядя на свой хвост, просипел он, – я тоже думаю, когда рисую. Но черт возьми, я же все-таки головой думаю, а не хвостом!

Удав впал в совершенное недоумение. Он тупо возил хвостом по песку и бессмысленно повторял: «прямая», «прямая»...

И тут подал голос Попугай.

— Понять, что такое «прямая», значит провести ее, – бесстрастно проскрипел он.

Удав вздрогнул и медленно поднял на Попугая глаза мученика.

— Именно, именно так! «Прямая» – не неподвижная идея! Понимать значит проводить. Не могу же я заранее знать, что такое «прямая», если ни разу не проводил ее! Да, да, знать значит знать как построить. – Удав посмотрел прямо в глаза Попугаю:

— И ты хочешь сказать, что не понял, что сказал?

— Я понял, – просто сказал Попугай.

— Но ты ведь не понимаешь того, что говоришь! – загремел Удав.

— Не понимаю, – снова согласился Попугай.

От бешенства Удав уже ничего не мог сказать и только прошипел:

— Но ты же понял то, что сказал про прямую...

— Видишь ли, – неожиданно расфилософствовался Попугай и даже доверительно наклонился к Удаву, – я, конечно, не понимаю того, *что* я говорю, но я понимаю, что я *говорю*.

От слов, а еще больше от поведения Попугая Удав совсем потерялся и только переспросил шепотом:

— Как?

— Ну, конечно, – расхохоталась Мартышка, – он не знает смысла слов, но слова-то он знает! А это то же самое, что проводить линию и *этим* понимать, *что* такое «линия».

— Ну, да, не речь, а сплошные фигуры речи, – пробормотал приходящий в себя Удав. Ему было немного стыдно за сцену, которую он устроил Попугаю, поэтому он напустил на

себя строгость. – Значит что же? Значит, я не удерживаю в уме смысл «прямая» и поэтому провожу прямую хвостом, а я удерживаю в уме «прямую» *тем способом*, что провожу ее хвостом.

— Ага, – весело согласилась Мартышка. – И у твоего ума нет другого способа понять, что такое «прямая», как только посредством хвоста.

Удав подозрительно покосился на Мартышку, не смеется ли она над ним. Но Мартышка не думала смеяться. Наоборот, было видно, как нравится ей такой способ понимания. Она выписывала в воздухе фигуры и сосредоточенно произносила:

— Пря-мая, кри-вая, ло-ма-на-я, а вот ок-руж-ность, а вот...

На всякий случай Удав уточнил:

— Не посредством хвоста, а посредством *движения* хвоста.

— Конечно, конечно, – охотно отозвалась Мартышка, – все дело в движении. Вот я провожу круг... Но ведь ум все равно перее тела, – оборвала себя Мартышка. – Потому что это ум движет телом.

— Конечно, ум. Кто же еще? Но все дело в том, что ум не отличает себя от движения тела.

— И прекрасно, и не надо ничего отличать. И так все понятно, – пропела Мартышка, продолжая с увлечением рисовать в воздухе.

IX

Удав долго смотрел на упражнения Мартышки, а потом задумчиво произнес:

— Понимаешь, тут есть одна закавыка. Беда не в том, что ум поглощен телом...

— Движением тела, – резонерски поправила Мартышка.

— ...движением тела, а в том, что тело в своем движении полностью поглощено тем, *что* оно чертит – прямую или кривую. Получается, что когда мы «думаем телом», мы сознаем только то, *что* тело рисует: сознаем прямую, кривую

или ломаную. Сознаем фигуру, форму, а *тело как форму* не сознаем.

— Ну зачем еще что-то сознавать? – Мартышка с укором посмотрела на Удава. – Если я знаю формы, знаю прямую, ломаную, округность, ну зачем мне знать еще и «свое тело как форму»?

— А затем, – менторски продолжал Удав, – что форма – всегда форма чего-то. И если ты не будешь сознавать свое тело как форму, то форма превратится в *форму вещей*.

— Неужели? – не сдавалась Мартышка. – И как же это она превратится? Откуда вообще могут взяться вещи в таком чудесном, волшебном мире форм? – видно было, что сама мысль о вещах кажется Мартышке отвратительной.

— Для этого достаточно остановить движение, – просто сказал Удав. – Пока ты ведешь прямую линию, ты только понимаешь, что такое «прямая», но если ты остановишься и посмотришь на построенный тобой отрезок, окажется, что он отграничивает синее от красного. Или ты можешь раз за разом вычерчивать один и тот же круг, чтобы понять, что такое «круг», но если ты посмотришь на него как на законченную, готовую фигуру, то увидишь синий круг на фоне красного или красный на фоне синего.

Мартышка внимательно выслушала Удава и повернулась к нему спиной.

— А я не хочу останавливать движение и не хочу знать никаких вещей, – решительно заявила она, продолжая рисовать воображаемые формы.

— Но Мартышка... – Удав замолчал и только ошарашено смотрел в спину Мартышке. Так, наверное, продолжалось бы долго, но Мартышка сама вдруг прекратила свой замысловатый танец и обернулась к Удаву.

— Ну хорошо, – всем своим видом Мартышка давала понять, что снисходит до низменных рассуждений Удава, – ты говоришь, что если остановиться, то формы, такие чистые и прекрасные, станут формами вещей?

— Да, – облегченно вздохнул Удав.

— А на самом деле это не так, и нам только так кажется?
На самом деле не красное ограничивает синее?

— Конечно, нет. Откуда взяться цветам, если нет формы?
Сначала должна быть форма, а уже потом цвета.

— А форма – это я?

— Ты-ты, – заверил Удав.

— И я не знаю об этом?

— В том-то и дело.

— Действительно обидно, – решила Мартышка. – Ну что же, тогда давай будем сознавать тело как форму.

Она помолчала немного и продолжила:

— Тогда первой такой формой будет «бытие»... Ты говорил, Удав, что «бытие» получается потому, что мы уже признаем тело формой, но еще не отличаем себя от этой формы.

— Да, да, при черчении ты не только не отличаешь ум от тела, но и тело от фигуры. А когда мыслишь «бытие», то признаешь *тело*, которое не то же самое, что фигура. Тело уже отличается от фигуры, но ум еще не отличается от тела.

Мартышка замерла в недоумении. Все-таки она никак не могла выбрать между фигурой и телом. Ей ужасно жалко было расставаться с выписыванием фигур, и манило сознание восхитительного «бытия». Она даже всхлипнула.

— Но мы же сначала чертим линии и фигуры, а уже потом занимаемся рефлексией и познаем «бытие», – капризно заметила она. – Что же, мы забываем, что видели круг и вместо круга видим «бытие»?

— Пойми, – терпеливо растолковывал Удав, – рефлексия – это совершенно иной взгляд на вещи. И мы обязательно придем к «кругу», только другим путем. И сейчас ты расстаешься не с «кругом», а с непосредственностью, с детством.

— То-то и обидно, – снова всхлипнула Мартышка. Ей стало ужасно жалко себя.

Но Удав смотрел холодно.

— А не хочешь, так и не надо. Только, помнится, кто-то очень обижался...

— Да, да, – спохватилась Мартышка. Она два раза выдохнула и как будто бросилась в воду. – Давай рефлексировать!

— Так вот, рефлексия – это другой способ понимания. Одно дело, ты понимаешь то, *что* видишь, а другое – когда понимаешь, что *видишь*, или понимаешь, что *ты* видишь. Но при этом *ты* – тот, который понимает, осознает свое тело, – совпадает с этим понимаемым телом.

— Ага, – как всегда загорелась, забыв об остальном, Мартышка, – значит, я знаю, что мое тело создает форму и является формой, но еще не знаю, что я, то есть душа, двигаю телом и вообще превращаю тело в форму. Я думаю, что я – тело, которое создает форму.

— Совершенно справедливо, – похвалил Удав.

— И то, что я черчу и вижу – это «бытие». Я черчу «бытие»!

— Умница! – улыбнулся Удав.

— А потом? – не унималась Мартышка.

— А потом ты понимаешь, что ты – душа, мысль, которая правит телом и в которой по-настоящему находится форма «что-то».

Мартышка несколько оторопело уставилась перед собой. Потом медленно-медленно выговорила:

— Я мыслю «бытие»... Я мыслю «что-то»... Я не понимаю, Удав, – вскинула она глаза, – я, то есть *моя душа*, совпадает с этим «что-то» или все-таки отличается от него?

Мартышка хотела еще что-то добавить, но запнулась. Она поняла, что ее не слушают. Удав растянулся на песке, блаженно закрыв глаза и, размеренно смакуя каждое слово, повторял:

— Я знаю себя. Я знаю себя как форму. Я форма. Я источник всякого движения. Я со-зер-ца-ю себя.

— Слушай, ты, источник движения, – Мартышка послушала-послушала и, наконец, пнула его, как лежалое бревно, – ты сейчас уснешь!

— Не мешай, – отрешенно отозвался Удав, – я наслаждаюсь. Разве ты не понимаешь, как прекрасно созерцать себя?!

— Ничего я не вижу в этом прекрасного! – отрезала Мартышка.

— Но почему же, почему?

— Да потому, что я чувствую, что совпадаю с формой «что-то». Мое «я» совпадает с формой «что-то».

— Так это же и прекрасно! – Удав совершенно растворился в блаженстве и благодушно-нехотя откликнулся на возражения Мартышки. Он даже слегка раскачивался из стороны в сторону. – Что же тут может быть плохого?

— А то, – азартно заговорила Мартышка, – что душа не может ни с чем совпадать! Иначе она перестанет действовать. Она замрет, уснет и... и... пропадет! – выпалила она.

Удав перестал раскачиваться и, раскрыв глаза, с некоторой досадой посмотрел на Мартышку.

— Почему это перестанет действовать? Душа превращает тело в форму. Душа создает, творит форму «что-то». Разве не так?

— Да, превращает, да, творит, – Мартышка упрямо насупилась. – Но это она творит *другое*, творит тело и... телом. А то, *что* в самой душе, она не творит.

Удав подумал и нехотя процедил:

— Да, не творит. Да, – отчего-то вдруг рассердился Удав, – да, *себя* душа не творит! И зачем? Как вообще душа может изменять себя? Для этого она должна отличаться от себя. А как «я» может отличаться от «я»? Получается, что «я» – это я и я – это не я!

Мартышка притихла под напором Удава и даже присела и теперь совсем не была похожа на ту Мартышку, которая только что смело пинала Удава. А Удав продолжал греметь.

— Высшая истина в том, что я обнаруживаю себя, собственное существование. Я есть я! Я равен самому себе!

Мартышка совсем скорчилась перед нависшим над ней Удавом, но, зажмурившись, успела пролепетать:

— Но ты ведь равен не себе, а той форме, которую ты мыслишь, форме «что-то». Получается «что-то» есть «что-то». А при чем здесь ты?

Х

Этого Удав не ожидал. Он застыл с открытым ртом, глаза его бессмысленно выпучились, и хотя, надо признать, по ходу разговора он не раз выглядел глупо, так смешно и нелепо он не выглядел никогда.

— Но, может быть, тогда я начало и принцип всякого «что-то», причина всякой определенности? – растеряно спросил он у Мартышки, и гордые слова «начало» и «принцип» прозвучали жалобно и безнадежно.

Мартышка тоже жалостно посмотрела на Удава и сокрушенно покачала головой.

— Ты же сказал, что равен себе, а равное себе, мне кажется, не может что-то двигать.

— Двигатель не может не двигаться! – громко возвестил Попугай, в очередной раз заставив всех подскочить.

— Что ты раскричался! – напустилась на него Мартышка и даже замахала лапами. – И так понятно...

— Да я ничего, – сразу понизил тон Попугай, – я только про противоречие... – В его голосе (кто бы мог подумать!) прослушивались извиняющиеся нотки.

Глядя на эту трогательную сцену, Удав совершенно успокоился и даже весело заявил:

— Каюсь, мне трудно, очень трудно отличить себя от мысли, которую я мыслю сейчас. Ведь я и есть мысль. Но как возникла мысль? – Удав немного подумал и продолжал, – сначала я знаю себя как тело – и тогда я *вижу* «что-то». Потом я знаю себя как душу – тогда я *мыслю* «что-то».

— Да, и знаешь, что мне больше всего нравится, Удав? – подхватила Мартышка. – Что тело образует, можно даже сказать, «делает» предмет, потому что делает предмет...

— Предметом, – подсказал Удав.

— Да, делает предмет предметом. А душа «делает» тело, то есть делает тело... телом.

— Делает тело телом, – кивнул Удав.

— Просто замечательно, – Мартышка округлила глаза, – что и тело, и душа что-то делают, живут... *бодрствуют*.

— Еще как бодрствуют! – подхватил уже Удав. – Посмотри, Мартышка: я сознаю свое тело – и вижу «бытие». Правильно?

— Правильно.

— А что, по-твоему, पहले? Что сначала, а что потом?

— Трудно сказать... Наверное, одновременно: я сознаю тело и сразу вижу «бытие».

— По времени, конечно, одновременно. Но по смыслу-то я сознаю тело, а уже вследствие этого вижу бытие.

— Да, пожалуй.

— А скажи, сознание тела остается, когда я вижу «бытие»?

Мартышка было призадумалась – и фыркнула.

— Не говори глупости, Удав. Тело – форма предмета. Если исчезнет форма, исчезнет и предмет. И ты же сказал, что по времени тело и предмет совпадают.

— Именно! – подтвердил Удав. – Душа делает тело формой, и пока мы сознаем тело, мы видим «бытие», «что-то». Сознать тело и есть способ видеть «бытие».

Удав и Мартышка посмотрели друг на друга.

— Значит, – усмехнулась Мартышка, – тело не просто образует предмет, а остается... как сказать...

— Постоянным условием для него.

— Да, да, вечно бодрствующим стражем... Я этого не поняла сначала, – задумчиво проговорила Мартышка.

— Я тоже, – отозвался Удав. – А теперь посмотрим, что происходит в душе. Логика такая же: я сознаю себя мыслью – и мыслю «бытие». Сначала сознаю себя мыслью, мышлением – и вследствие этого мыслю «бытие». Но мыслить «бытие» я могу только тогда, когда сознаю себя мыслью.

— Ага, – прищурилась Мартышка, – мысль здесь и форма, и предмет!

— Ну да, – автоматически согласился Удав, но примолк и странно посмотрел на Мартышку.

— Ты думаешь? Но ведь когда мы видим «бытие», тело тоже и форма, и предмет. А правильнее сказать, что тело создает предмет, для которого служит формой.

— Ну, если совсем правильно, – заметила Мартышка, – то душа создает тело, которое создает предмет и держит его как на вытянутых руках.

— Да, а когда мы сознаем душу, оказывается, что душа держит тело как на вытянутых руках, – Удав даже не заметил, что перешел на Мартышкин язык метафор. – Ведь у тела и души один и тот же предмет. Но когда я сознаю душу – это значит, что я знаю, что сознаю тело.

— И что, совсем нет какого-то отдельного мысленного предмета?

— Нет. Есть только знание того, что предмет образован мыслью. Не телом, а душой.

— Значит, знать себя мыслью – это знать, что знаешь тело?

— Конечно.

— И по смыслу так: я знаю тело – и вижу «бытие»; я знаю, что знаю тело – и мыслю «бытие», – это Мартышка уже не спрашивала, а констатировала как факт. – И вся эта конструкция из форм – чувственная форма, мысленная форма – не исчезает в предмете, а мыслится вместе с ним. Как я люблю жизнь! – несколько неожиданно закончила Мартышка.

Но Удав не был удивлен.

— Конечно, форма – это действие. Как это ты хорошо сказала: *образование* предмета. И все-таки ты была права – и тело, и мысль предметны. Пусть мысль сама создает свой предмет, тем не менее, она предметна, она мысль *о чем-то*.

— Да разве может быть иначе? – Мартышке вдруг стало ужасно стыдно за то, что она пинала Удава.

XI

— Давай начнем с этого места: я знаю, что знаю тело – и вследствие этого знаю «бытие», – Удав стал похож на кота, подкрадывающегося к мыши, – в этой, как ты говоришь, конструкции чувственная и мысленная формы составляют единое целое. Мысленная форма как бы надстраивается над чувственной. Но кроме того, мысленная форма еще и знает себя как часть этого целого.

Мартышка подумала.

— Я знаю, что знаю тело... Да, действительно, мысль сознает себя как часть конструкции из чувства и мысли.

— Мысль не только отличает себя от тела, – продолжал Удав, – но в известном смысле отличает себя от себя же, потому что сознает себя частью конструкции.

— Раз сознает себя, значит отличается от себя, – согласилась Мартышка.

— И ты не забыла, конечно, что форма – и чувственная, и мысленная – логически первее предмета.

— Угу, и держит его как на вытянутых руках, – серьезно кивнула Мартышка.

— Тогда давай сделаем еще один шаг: мысль сознает себя мыслью. Не той мыслью, которая мыслит тело, а просто мыслью. Я знаю, что знаю.

— Я знаю, что знаю, – медленно, пытаюсь понять, повторила Мартышка.

— Я знаю себя знающим – и все!

— То, *что* я знаю, уже не «бытие», а я сам? И что такое «я сам»?

— Мысленная форма, – коротко ответил Удав.

— Форма без всякого предмета? – совершенно изумилась Мартышка.

— Да. Не знаю «бытие», а просто *«знаю, что знаю»*.

Мартышка была совсем сбита с толку. Глядя на нее, Удав расхохотался:

— Ты же сама не хотела никаких вещей, а одни только формы. А теперь ты еще и *знаешь*, что ты форма.

— Знающая себя форма, – протянула Мартышка. – Раньше-то было просто: я рисовала фигуры – круг, квадрат... А теперь я стою и знаю, что я форма.

— Зато ты кое-что узнала о себе.

— Кажется, слишком много. Я чувствую, что я – что-то сложное, какая-то длинная конструкция из форм, но не могу ее ухватить ...

— Я тебе помогу. Только двигается теперь надо не «снизу вверх», а наоборот, «сверху вниз».

— Мне все равно, – мрачно заметила Мартышка, – хоть вниз головой.

Удав ухмыльнулся.

— Раньше было как? Сначала я знаю тело – и вижу «что-то». Потом я знаю себя как мысль, как знание – и знаю «что-то». Одновременно это означает, что я знаю, что знаю тело. Затем в «знаю, что знаю тело» я выделяю «знаю, что знаю» – и мыслю мысленную форму без предмета. Можно сказать и так: знаю, что знаю форму.

— Какую форму? – перебила Мартышка.

— Прекрасный вопрос, – похвалил Удав. – Видишь ли, форма – это ведь не конкретная какая-то форма, не круг и не квадрат, а форма вообще, определенность как таковая. Когда мы думаем: «это», «вот», «есть», то думаем, что имеется *определенность*, и все. А раз форма – просто определенность, то и предмет, который она образует, тоже *просто предмет*. Не красный и не синий: все, что мы о нем знаем, это то, что он *есть*. Именно это мы имеем в виду, когда говорим, что *знаем «бытие»*. А знаешь, почему так получается?

— Нет.

— Потому что в знании «бытия» знание, форма определяет предмет. Форма определяет, а предмет получает определение. При этом сама форма никак не определяется.

— Ага, – догадалась Мартышка, – когда мы знаем, что знаем форму, – уже сама форма получает определение, становится не просто формой, а известно какой формой: кругом или квадратом.

Несмотря на свою догадливость, Мартышка оставалась угрюмой и какой-то неподвижной. Удав внимательно приглядывался к ней, удивленно вздернул брови и продолжал.

— Так мы двигались «снизу вверх». А теперь я сначала знаю, что знаю форму. Потом я знаю форму, то есть являюсь мыслью о форме. Одновременно это означает, что я знаю, что мыслю свое тело. А затем я мыслю тело, то есть вижу или черчу форму.

И тут Удав понял, что для бедной Мартышки «стоять и знать, что ты форма», означало буквально окаменеть, и сейчас она изображала собой статую.

— И самое интересное, – вдруг вымолвила Мартышка, так что Удав невольно вздрогнул от неожиданности, – самое интересное, что все эти три формы: «знаю, что знаю», «знаю» и «вижу», существуют одновременно.

— Совершенно справедливо, – с некоторой опаской скосившись на Мартышку, подхватил Удав, – это по смыслу одна форма переее другой, а другая – третьей, а так они строго одновременны. Видеть, знать и знать, что знаешь – одно и то же.

— Замечательно, просто замечательно, – искренне, но откуда-то издалека произнесла Мартышка, – это самое настоящее бодрствование, которое мне так нравится. Слушай, Удав, – осеклась она, – я что, так и буду... стоять?

Взглянув на окаменевшую Мартышку, Удав чуть не расхохотался, но спохватившись поспешил успокоить.

— Осталось совсем немного. Главное понять, что когда ты знаешь, что знаешь форму, ты не только мыслишь форму, но и отличаешься от нее, как мыслящий отличается от мыслимого. Ты властвуешь над формой!

— Прекрасно, – сказала Мартышка, – и что я с ней делаю?

— Ты ее... созерцаешь, – сказал Удав и похолодел, вспомнив про свой первый опыт созерцания.

— Но, послушай, – Удав смутился под суровым взглядом Мартышки, – теперь же ты отличаешься от того, что созерцаешь, ты не совпадаешь с предметом созерцания.

— Если я не совпадаю с предметом, – отчеканила Мартышка, – я должна что-то с ним делать! Не правда ли? – ехидно добавила она.

— Должна, – упавшим голосом согласился Удав.

— Когда я, а точнее, *ты* совпадал с предметом созерцания, ты еще мог заснуть, только я тебе не дала этого сделать, о чем теперь горько сожалею, – продолжила Мартышка. – Но теперь, когда ты отличаешься от предмета, ты уже не можешь заснуть. Ты обязан знать, что делать с этим предметом!

— Но, может быть, его все-таки можно созерцать: знаю, что знаю...

— Если «знаю, что знаю», то тогда «знаю, что знаю, что знаю» и «знаю, что знаю, что знаю, что знаю» и так до бесконечности, – возвестил Попугай и захлопал крыльями.

— Вот! – безжалостно подвела черту Мартышка. – На всякое твое «знаю, что знаю» найдется еще одно «знаю». Итак, ты обязан знать, что делать с предметом.

— Обязан. Но не знаю. Не имею ни малейшего представления, – Удав замолчал и сам стал похож на изваяние. Так они и стояли, закованые, друг против друга и представляли бы самое забавное зрелище, если бы было кому смотреть...

XII

— Все очень просто, – в голосе Попугая слышалась неожиданная безмятежность. – Нужно на самом деле забыть, что форма связана с предметом и различать саму форму.

— Как это – различать форму? – поразился Удав.

— Нужно начать с самой простой формы. Обязательно с самой простой. Самое важное – порядок форм, – каркал, как пел, Попугай. – Например, «прямая» – самая простая пространственная форма. Затем надо усложнить ее – и ровно на один дополнительный признак. Например, «ломаная» – это «прямая» и еще одна добавленная к ней «прямая».

— А почему все-таки нужно начинать с самой простой формы? – перебила Мартышка.

— Потому что «прямая» – еще никакая не определенность. Она ничего не добавляет к вашему «бытию», или «что-то», и она такая же простая, как просто определенность. Но, – Попугай воздел крыло к небу, – она мыслится независимо от предмета.

Мартышка понимающе кивнула, а Удав только крякнул.

— Если уж хочешь самый простой признак, – ревниво заметил Удав, – то можешь просто удлинить свою прямую.

— Хорошо, – сразу согласился Попугай, – пусть сначала будет отрезок, а потом более длинный отрезок. Что мы можем сказать о них?

— Ясно что, – хмыкнула Мартышка, – что один из них длиннее другого.

— Не совсем так. Скорее мы можем сказать, что отрезки *разные*.

— Действительно, – удивился Удав. – А почему?

— Потому что признак, различающий отрезки, один. А когда есть только один признак – он только различает предметы, а не показывает, в чем именно состоит различие.

— То есть ты хочешь сказать, – протянул Удав, – что начертив второй отрезок длиннее первого, мы не поняли, что он длиннее?

— Мы поняли, что начертили что-то «другое» – и все, – отрезал Попугай.

— Но, послушайте, – ввязалась в разговор Мартышка, – если второй отрезок неизвестно чем отличается от первого, то как же вы говорите, что у него есть какой-то отличительный признак? Если признак есть, он не может быть никаким!

— Понимаешь, в чем дело, – Попугай объяснял основательно, не торопясь, – признак у второго отрезка есть, но он не осознается *как признак*. Мы второй отрезок понимаем *целиком* как «что-то другое».

— Но «другое» в каком смысле? – не отставал Удав.

— В каком смысле... – на мгновение задумался, как бы споткнувшись, Попугай. – Хорошо, сейчас объясню. Если существует только один отрезок, то мы ведь даже не можем сказать, что у него есть длина. Он просто есть – и все. Чтобы появилось само *понятие* длины, необходимо сравнить между собой *две* разные длины. Так?

— Ну, так, – опять удивился Удав.

— Раз длина появляется не вместе с отрезком, а после – при сравнении двух длин, то назовем длину *свойством*, присущим отрезку, – методически развивал Попугай. – Двух отрезков вполне достаточно, чтобы это свойство появилось и стало совершенно ясным. Значит, мы можем сказать, что у нас не просто два разных отрезка, а два отрезка, разных *по длине*.

— Ну вот, значит, все-таки разные в каком-то смысле – один длиннее, другой короче. Это понятно, – довольно пробасил Удав.

— Но при этом, – невозмутимо продолжал Попугай, – сравнивая отрезки по длине, мы сравниваем их целиком, то есть не выделяем во втором отрезке ту часть, *на которую* он длиннее первого отрезка. Получается, что второй отрезок просто «длиннее» первого, а два отрезка – просто «разной длины».

Попугай откашлялся. Слушали его со всем вниманием.

— А чтобы у второго отрезка вычленить признак, – продолжал Попугай, – этому признаку нужно, в свою очередь дать какой-нибудь отличительный признак.

— Ага, – совершенно как Мартышка подхватил Удав, – начертить третий отрезок длиннее второго!

— Можно и так, – согласился Попугай. – Теперь второй отрезок получил определение.

— Какое? – Мартышка, казалось, была целиком вовлечена в странную игру, где правила формировались по ходу самой игры. – Ведь отличительным признаком второго отрезка было то, что он «длиннее» первого. А теперь оказалось, что «длиннее» может быть двух видов: «длиннее» и «еще длиннее». Значит, «длиннее» мы можем понять в сравнении с «еще длиннее».

— А раз мы поняли признак «длиннее», – продолжил Удав, – то можем *по признаку* отличить второй отрезок от первого: первый «длинный» в том смысле, что имеет, собственно, одно свойство – длину, а второй «длиннее».

— Значит, чтобы отличить второй отрезок от первого... – увлеченно затараторила Мартышка.

— По признаку, определенно отличить, – уточнил Удав.

— Да, да, чтобы по признаку отличить второй отрезок от первого, нужно по признаку отличить третий отрезок от второго. Получаются сразу три отрезка, по признаку отличные друг от друга.

— Получаются три признака, отличные друг от друга, а *потом уже* три отрезка, отличные по признаку, – веско заметил Попугай.

— Ну, да, – согласился Удав, – ведь «еще больше» – это та часть третьего отрезка, которой он превосходит второй, и она относится к «больше», то есть к той части второго отрезка, которой тот превосходит первый...

— А у первого отрезка признака нет, но отсутствие признака тоже является признаком! – довольная собой, заключила Мартышка.

Но Удав, поглощенный новой для него материей – отношением форм, – даже не заметил ее успеха.

— Выходит, что у каждого предмета мы вычленили часть, и эти части относятся друг к другу ...

— Мы вычленили части на том основании, что они относятся друг к другу, – спокойно поправил его Попугай.

— Вычленили части *на том основании*, что они относятся друг к другу, – покорно повторил Удав, – а потом, установив отношение частей, мы на этом основании устанавливаем отношение предметов.

— Вычленение частей и установление отношения частей – одно и то же. А следующим шагом устанавливается отношение предметов, – подтвердил Попугай.

— Но послушайте, – снова встряла Мартышка, – то, что мы вычленяем, это ведь совсем не части. У отрезков и частей-то нет.

— Совершенно справедливое и своевременное замечание, – похвалил Попугай. – Мы должны были говорить не «части», а «признаки».

И тут же методично объяснил:

— Часть отличается от других частей предмета, а признак устанавливает отношение между предметами.

Попугай строго посмотрел на собеседников

— Вы не забыли, что предметы у нас теперь – формы, не связанные с вещами?

— Да не забыли, не забыли, – отмахнулась Мартышка. – Ты скажи лучше, почему это части не могут сравнивать и различать – хоть вещи, хоть формы? Если у предметов разные части мы говорим: предметы разные. А если части одинаковые – одинаковые предметы. А еще предметы бывают похожие: это значит отчасти одинаковые, отчасти разные.

— Нет, нет, Мартышка, – Удав терпеливо прикрыл глаза, – это очень старая глупость. Части, или, как еще говорят, свойства, не устанавливают отношений – никогда и никаких. Если мы о чем-то говорим «одинаковое», то имеем в виду, что это *одно и то же*. И два «одинаковых» предмета – попросту один предмет. А когда мы говорим про «разные» предметы, значит, у них нет ничего общего, и они никак не связаны между собой, *безотносительны*. Так и с частями. Если у предметов какая-то часть одинаковая, значит, эта часть у них *общая*, а если части разные, то предметы не имеют между собой ничего общего. Ну, а про «схожесть» ты все сама сказала: она сводится к одинаковому и разному...

— Так что же, – Удав обернулся к Попугаю, – ты хочешь сказать, что у «чистых», не связанных с вещами форм нет частей, одни только признаки?

— Ну почему... Есть и свойства, и части, только они возникают на основании признаков.

— И формы выстраиваются сначала по признаку, потом – признаку признака и так далее?

— Несколько сложнее. Ведь первый признак, «длиннее», появляется вместе с «еще длиннее». Связываются сразу три формы. Значит, и следующий шаг построения должен заключать три формы, или признак и признак признака.

— Да, пожалуй, – пробормотал Удав, – но... как?!

— А как мы рассуждали? «Длиннее» имеет два варианта – «длиннее» и «еще длиннее». И это различие «длиннее» и «еще длиннее» и дает нам сам смысл «длиннее», которого раньше не было. А вместе со смыслом «длиннее» возникает и смысл «длины», потому что понятие «длина» может появиться лишь из сравнения двух разных длин. Не так ли?

— Так, – входя в роль ученика, поддакнул Удав.

— Значит, у нас есть последовательность: «длина» – «длиннее» – «еще длиннее», где «еще длиннее» является разновидностью и признаком «длиннее». А между тем «еще» имеет свой, собственный смысл, который мы не заметили. Это сравнение двух сравнений: если второй больше первого, то третье больше второго. Речь теперь идет не о длине, а о прибавке к длине, и прибавки сравниваются так же, как раньше сравнивались длины. В таком случае «еще больше» будет *признаком*, который отличает *одно* «больше» от *другого* «больше».

— То есть снова так же, как было с отрезками, когда «больше» отличало «одно» от «другого»? – уточнил Удав.

— Вообще-то «одно больше» и «другое больше» – не то же самое, что «одно» и «другое», потому что добавляется новая определенность – определенность сравнения, различия. Но ты прав, история повторяется: про «еще больше» можно сказать только то, что это другой случай «больше». И чтобы узнать что-то еще, нужно уточнить, *насколько второе «больше» больше первого «больше»*. Например, «немного больше» или «значительно» больше.

— И «немного» и «значительно» будут признаками к признаку «еще больше», – заключил Удав.

— Да, получается последовательность «больше» – «еще больше» – «значительно больше», где «значительно» служит разновидностью и признаком «еще».

— Все, все, все! – Мартышка замотала головой. – Никаких больше «последовательностей»: считайте, что я все поняла.

— Хорошо, – пожал плечами Попугай, – а о чем будем говорить?

— Прежде всего, я хочу кое-что уточнить для себя, – сказал Удав и почему-то повернулся к Мартышке. – Вот Попугай прекрасно показал, как различать формы, – Удав примирительно покосился на Попугая. – Но ты заметила, как он двигался? Сначала отрезок, потом отрезок длиннее, и «длиннее» служит признаком, отличающим второй отрезок от первого.

— Что же тут можно не заметить? – хмыкнула Мартышка.

— А то, что понять, что у второго отрезка есть признак, можно только если сравнивать его с первым отрезком. А для этого отрезки должны мыслиться *одновременно*.

— Ну, да...

— Значит, движение происходит не так: первый отрезок, потом второй отрезок; а так: сначала первый отрезок, потом первый отрезок в отношении ко второму. А третий отрезок, если помнишь, отличался от второго не признаком, а признаком признака, и рассуждение было такое: «длиннее» может быть двух видов – «длиннее» и «еще длиннее».

— Значит, – сообразила Мартышка, – третий отрезок должен мыслиться вместе со вторым, который мыслится вместе с первым. «В доме, который построил Джек», – Мартышка улыбнулась. – Получается, что первый отрезок разстроился.

— Сначала раздвоился, потом разстроился, – соглашаясь, кивнул Удав. – Все три отрезка мыслятся одновременно *как части одного целого*.

— А скажи, пожалуйста, ведь отношение третьего отрезка ко второму будет отношением к отношению? – почему-то кокетливо спросила Мартышка, глядя на Удава.

— Нет, не будет, – неожиданно вступил Попугай.

— Почему? Было бы красиво...

— Красиво, но не своевременно.

— А почему не своевременно?

— Потому что не очевидно, что отрезки связаны признаками.

— Как не очевидно?! – опешил Удав. – Ты же говорил, что в мире «чистых» форм существуют только признаки.

— Значит, мы еще не добрались до «чистых» форм, – холодно рассудил Попугай. – Смотрите сами. Сначала второй отрезок становится «другим» по отношению к первому...

— Так же, как первый становится «другим» по отношению ко второму, – поддакнула Мартышка.

— Да, но что это означает с точки зрения отношения, которое их соединяет?

— Или различает, – не унималась Мартышка.

— Или различает. Чем задается это отношение? Признаком. Но ведь признак еще не отличен *как признак*. Значит, отрезки соотносятся не признаком, а соотносятся *целиком*, как просто *разные отрезки*. Так?

— Так, – Удав подумал немного. – Конечно так. Признак создает отношение отрезка к другому отрезку, но не отличается от самого отрезка.

— Потом, вместе с третьим отрезком отношение становится определенным: *длинный, длиннее, еще длиннее*. Но выходит, что второй отрезок длиннее первого на какую-то свою часть, а третий длиннее второго на какую-то свою часть.

— Но у отрезков нет частей, – заметила Мартышка.

— У отрезков *не было* частей, – повернулся к ней Попугай, – пока мы не сравнили их между собой.

— Не было... Значит, сначала мы ставим отрезки в какое-то отношение, а *потом только* делим их на части, – удивилась Мартышка.

— Мы устанавливаем отношение по признакам и только *потому* делим на части.

— Но признаки не отделимы от частей, – вступил Удав. – Сначала признак был неотделим от всего отрезка, а теперь неотделим от его части.

— Сначала отрезки соотносились *целиком*, а теперь – по частям. Но все равно не по признакам. Хотя все делали именно признаки. Я знаю, как бы ты это назвал, – Мартышка прищурилась на Удава. – Ты бы сказал, что признак строит отношение, но не сознает, что строит отношение. И не сознает себя признаком. Интересно... Я думала, что мы сразу строим признаки и отношения, а оказалось, что строить-то строим...

— А оказалось, что сначала у нас отношение является отношением самих форм. То есть отношение ничем не отличается от *относящихся между собой отрезков*. Зато потом, когда отношение становится отношением частей, отношение уже *отличается* от относящихся форм. Но не до конца, потому что не отличается от частей этих форм. А раз так, –

Удав имел такой вид, как будто удивился самому себе, – раз отношение отличается от отрезков, то мы можем делать следующий шаг: помыслить отношение признаков самих по себе.

— Не отношение отрезков? И не отношение частей отрезков?

— Просто «длина» – «длиннее» – «еще длиннее» без всяких отрезков. И то, что мы сознаем, между прочим, и будет *отношением отношения*.

Мартышка вздохнула.

— Но послушай, Удав. Ведь просто отношение, без того, что относится, – это же... эфир... не знаю... дуновение воздуха. Этого просто не может быть!

— Но почему? Есть же мы, которые этим... дышат, – несколько неожиданно для самого себя ответил Удав.

Мартышка мечтательным, невидящим взглядом посмотрела вдаль, а потом виновато обернулась к Удаву.

— Милый, дорогой Удавушка, можно я задам тебе один вопрос? Нет, я, конечно, понимаю, что мы не созерцаем отношение само по себе. Нельзя же созерцать воздух?... Наверное, это и вправду похоже на дыхание. Но все-таки, зачем мы это делаем? Есть ли в этом еще какой-то смысл, кроме... дыхания?

Удав лукаво улыбнулся в ответ Мартышке и самым добродушным образом заявил

— Есть, Мартышка. Смысл в том, что теперь отношение отрезков будет формой для...

— Не может быть! – что есть духу завопила Мартышка. – Это что же? Как я построю признаки, таким и увижу мир?

— Мир ты увидишь не так, как прежде. В этом мире цвета не будут оттенять и служить границей друг для друга. Цвета будут стоять рядом друг с другом, как части целого. И не будет одного какого-то цвета, а как минимум три.

— Расскажи, расскажи, как это получается? Ведь отношение – это отношение форм, фигур, отрезков, а мир – он красный и синий, твердый и мягкий. Как же?

XIII

— А вот смотри. Сначала я сознаю отношение признаков...

— Да.

— Осознав отношение признаков, я перехожу к отношению форм, отношению фигур. Но теперь формы относятся друг к другу не непосредственно, а *через отношение признаков*.

— Через отношение признаков, – повторила Мартышка. – А вот так прямо между собой они совсем не соотносятся?

— Ну как сказать? – Удав как-то неопределенно, рассеянно наклонил голову набок. – Они находятся... рядом друг с другом.

— Рядом? – изумилась Мартышка.

— Именно. И чтобы формы находились рядом, между прочим, нужны веские основания. Ты же не поставишь рядом тяжелое и длинное или горячее и длинное. Такое основание дают признаки. Признаки ведь не просто различают формы, а, как ты знаешь, различают по свойству. Второй отрезок не просто другой по отношению к первому: он *длиннее*. Только когда отношение по свойству установилось, мы можем сказать, что формы *рядом* друг с другом, или что формы *отличаются* друг от друга.

— А «отличаться» и «стоять рядом» – это одно и то же?

— Абсолютно. Если мы знаем о чем-то только то, что оно «другое», «иное», «отличное», это и означает, что мы ставим его рядом с тем, от чего оно отлично. Мы не отождествляем одно и другое и в то же время не знаем, в чем именно заключается их различие. Вот и получается: одно рядом с другим.

— Так-то так, но ты же сказал, что второй отрезок длиннее первого. Как же мы не знаем, в чем состоит различие?

— Тут, видишь, какое дело... – Удав немного подумал. – Отношение по свойству устанавливается, когда мы сравниваем признаки сами по себе. Это значит, что отношение мыслится как отношение *признаков*, а не *форм*. Мы как бы забываем о формах и мыслим только отношение признаков.

— Это я уже поняла, – Мартышка не торопила Удава и только внимательно смотрела на него.

— Да. Ты ещё сказала, что отношение признаков – чистый эфир. Отношение без того, *что* относится.

— Вот-вот. А теперь я уже не понимаю: «длиннее» – это эфир или не эфир? – хмыкнула Мартышка.

Удав улыбнулся.

— Если «длиннее» взять как часть отрезка, то, конечно, не эфир. Потому что часть – это реальный пространственный факт: один отрезок на такую-то часть длиннее другого отрезка. Эту часть, так сказать, можно потрогать.

— Ага, – перебила Мартышка, – а когда мы берем признаки, то забываем про отрезки и части и видим только одни признаки. И по ним не видно, *что* короче, а *что* длиннее.

— В том-то и дело, что признаки мы не видим, а мыслим. Признак *несет* в себе смысл «длиннее», но этот смысл *не видно*.

— Как это не видно? Очень даже видно!

— Потому что, когда мы берем признак как признак, мы мыслим *отношение*. Понимаешь, не отношение целых отрезков, не отношение частей отрезков, а *само* отношение, отношение *как таковое*.

Мартышка даже зажмурилась от усилия понять

— «Длиннее» – это отношение. Настолько длиннее или настолько, – она отмерила лапами разные расстояния, – неважно. Все равно «длиннее».

— Да, да, – закивал Удав, – и дело не в том, что мы не знаем, насколько именно длиннее, – мы как раз знаем это очень хорошо. Но как бы не менялся признак, сохраняется один и тот же смысл «длиннее».

— Длин-не-е, длин-не-е... Слушай, Удав, – расширила она глаза на Удава, – а ведь это и есть эйдос, который ясен без всякого образа.

— Конечно, – лукаво улыбнулся Удав. – До сих пор формы были конкретные, зримые. И только когда мы мыслим признаки – мы мыслим идею.

— Значит, идеальное – это отношение признаков, – сформулировала Мартышка.

— Идеальное – это отношение форм как таковое, или отношение признаков, – подтвердил Удав.

XIV

— И с этих пор, – вдруг почему-то вкрадчиво и понизив голос продолжал Удав, – *формой восприятия* становятся не *сами формы*: не прямая, не круг и не квадрат, а *отношение форм*.

— Отношение форм... – протянула Мартышка. – Значит, формой восприятия становится не короткий и не длинный отрезок...

— Формой восприятия становится *их различие!*

— Это что же, все, что мы строим: отрезок, потом отрезок длиннее, потом еще длиннее, да вообще всю геометрию – это мы построили не формы восприятия?

— В этом-то и дело. Для восприятия совершенно не важно, какая именно фигура: круг, квадрат или треугольник. Важно то, в чем заключается их различие.

— То есть не важно, *длинный* отрезок или *короткий*, а важно, что один *длиннее* другого?

— Именно. Формой восприятия является их различие, ну, или связь, *отношение*.

— И в чем это отношение состоит?

— В том, что оно есть, что формы стоят рядом друг с другом, что они – разные.

— Ага, а если форма восприятия состоит в различии форм... – медленно, вдумчиво начала Мартышка, как камень в гору ташила.

— То и само восприятие заключается в различении.

Мартышка подумала-подумала и пробормотала себе под нос:

— Ну, да. Свет мы видим потому, что у него есть форма. А если формой восприятия является отношение разных форм, то в чем состоит теперь восприятие?

— В различениях. Вместо одного мы получаем два восприятия, два чувственных впечатления, о которых можем сказать только то, что они «разные»: «одно» и «другое».

Мартышка недоверчиво уставилась перед собой, широко раскрыв глаза.

— Вот я вижу одно, вот другое; я замечаю, что они разные, но не вижу, в чем именно заключается разница...

— Ну конечно. Если бы на свете было только два цвета, ты так бы и видела.

— Значит, это уже не свет, а цвет? – Мартышка вцепилась взглядом в Удава. Ей вдруг ужасно захотелось вернуться в мир красок. Но Удав ответил уклончиво:

— Это еще не цвет, а, можно сказать, первый шаг... предчувствие цвета. «Пред-чувствие» в прямом смысле, потому что речь ведь идет о чувстве, о зрении. И вообще, с чувством все обстоит так же, как было с формами. Да ты слушаешь?

Мартышка стояла, закрыв глаза, и на ее морде самым глупым образом светилось блаженство. Она прошептала:

— Значит, сначала был свет – и ничего, кроме света. И я была границей света, формой света. А теперь я – различие двух форм. И первое, что я чувствую – это предчувствие. Я предчувствую цвет.

Постояв еще немного, Мартышка как будто очнулась и раскрыла глаза.

— Значит что, Удав, если бы было только два цвета, цвета еще бы не было?

— В полном смысле не было бы. Так ты слушаешь про формы?

— Слушаю-слушаю, извини, пожалуйста.

— Так вот, когда мы сравнивали два отрезка, у нас появлялось что? – во-первых, длина, во-вторых, разность длин. При этом длина как свойство была совершенно определенной, а неопределенной была разность длин. В чем заключается разность длин, было не понятно, а в чем заключается длина – понятно. Понятно?

— Понятно, – кивнула Мартышка.

— И сейчас, когда мы сравниваем два чувства, нам ясен цвет как свойство, но не ясно, чем именно различаются цвета. Разницы двух цветов не достаточно, чтобы увидеть цвет.

Мартышка немного подумала.

— Но чтобы перейти к трем цветам, нужно вернуться к формам?

— Конечно. И делается это так: сначала мыслится отношение трех форм, то есть мыслится *отношение к отношению*. И это отношение к отношению и является *формой восприятия*.

Мартышка замерла.

— И что, теперь можно видеть?

— Теперь можно. Три цвета позволяют увидеть, чем отличается второй цвет от первого, а третий от второго. Например: «светлый», «темнее», «еще темнее». А уже потом каждому из цветов мы можем подобрать название, скажем: «белый», «серый» и «черный».

Мартышка, как заколдованная, смотрела на Удава.

— И эти цвета мы рассматриваем... Я хочу сказать, что мы рассматриваем их, как рассматривают части целого, переходя от одного к другому?

— Да, *видение* и состоит в том, что мы сравниваем цвета.

Они помолчали. Потом Мартышка протянула медленно и несколько загадочно:

— Так, значит, все-таки так: сначала я строю признаки... И почему «сначала»? Я ведь могу построить всю геометрию... как ты говорил? Целый мир пространственных форм – и даже не вспомнить о вещах... всяких там.

— Да, да, «всяких там», – рассмеялся Удав, вспомнив, как Мартышка всегда держалась за вещи.

— Но если я все-таки вспомню о мире, – продолжала тянуть Мартышка, – то он будет устроен так, как я построила «чистые» формы. И никак иначе.

— Так было и со светом, – заметил Удав. – Вспомни: сначала ты мыслишь круг, круг сам по себе, без связи с вещами. Затем обращаешь его к миру, то есть мыслишь круг как фор-

му восприятия. И тогда ты сначала мыслишь бытие, а затем и одновременно с мышлением бытия видишь свет.

— Круг, бытие, свет, – как эхо откликнулась Мартышка.

— Почему мы видели свет?

— Потому что у него была форма.

— Да, и поскольку форма была простая, то мы видели только свет, или, можно сказать, просто *видели*. А теперь форма стала сложной. Но сложной не в том смысле, что простая форма видоизменилась, а в том, что к ней добавилась *другая* форма, и *вместе* они составили *одну новую* форму, став ее частями. А когда к ним добавилась третья форма, она стала третьей частью этой новой формы.

— Здорово, – согласилась Мартышка. Она полюбовалась разноцветьем вокруг себя. – Конечно, чтобы был один какой-то цвет, должен быть и другой.

— Но не в том смысле, что один цвет оттеняет и ограничивает другой, а в том смысле, что цвета расположены рядом друг с другом.

XV

— Интересно получается, – рассудительно продолжила Мартышка, – получается, что думать – это... это...

— Это соотносить признаки, – пришел на помощь Попугай.

— Вот это я и хотела сказать.

— Погодите, погодите, – удивился Удав, – ведь признаки – это отношение форм. Получается, думать можно только о формах, а цвета можно только видеть.

— А что, так и есть, – пожал плечами Мартышка. И она, и Удав, не сговариваясь, почему-то посмотрели на Попугая.

Тот моргнул и как-то странно предложил:

— А вы посмотрите на какую-нибудь вещь...

— Что? – Удав даже как-то передернулся. – Что такое?!

— А что такое? – не поняла Удава Мартышка.

— Да как что?! Чтобы Попугай – и говорил о вещах! Да еще и предлагал ими полюбоваться. Я просто с ума сойду! Кто теперь из нас Попугай?

— Да вы посмотрите, посмотрите, – спокойно повторил Попугай. – Вот хоть на зеркало, которое принесла Мартышка. Оно овальное, у него есть рама, сверху красная, снизу синяя, и само стекло. Значит, наша вещь состоит их рамы и зеркала. Вы видите эту вещь?

— Ты действительно какой-то странный, – Мартышка даже не повернулась к зеркалу. – Конечно, видим.

— А что ты видишь?

— Да раму и вижу, – Мартышка упорно смотрела не на зеркало, а на Попугая, – вижу красную ее часть и синюю часть, стекло вижу.

— А больше ничего не видишь? – методично и совершенно серьезно допытывался Попугай.

— А больше ничего не вижу, – начиная закипать, процедила Мартышка. – Больше там ничего нет.

— Ну как же? Есть еще сама вещь, вещь *целиком*.

— Как? – Мартышка застыла, потом метнула взгляд к зеркалу, потом спохватилась, что дело вовсе не в зеркале, и стала пожирать глазами свое отражение. – Ты хочешь сказать, что зеркала целиком я не вижу?

— И себя не видишь. Лапы видишь, хвост – а себя целиком не видишь.

Мартышка в изнеможении выдохнула.

— И что это значит?

— А значит это вот что. Удав нам замечательно объяснил, что отношение признаков является формой восприятия.

— Объяснил, – согласилась Мартышка, – только это так странно, что я, кажется, опять это забыла... Но теперь вспомнила! И что?

— И такая форма восприятия позволяет различать цвета.

— Да.

А теперь давай попробуем *осознать* отношение признаков как таковое. Независимо от цветов. Отношение признаков как таковое и будет целым. Мыслить отношение признаков как таковых значит мыслить целое.

— То есть мы берем отношение признаков не как форму восприятия, а само по себе, – Удав рассмеялся. – Теперь я понимаю, почему Попугай вдруг залюбовался вещами.

— Да уж, – хмыкнула Мартышка, – вещей-то, оказывается, нет: одни только признаки. Да и ими любишься только мысленно.

— Ну почему только мысленно? – подумав, возразил Удав. – Те же самые признаки вполне можно увидеть, но *не в качестве признаков*, а в качестве *частей вещи* или *свойств*. Тот же признак овала возьми как свойство или часть зеркала и любуйся, сколько хочешь.

XVI

— Послушайте, давайте называть вещи своими именами, – решительно заявила Мартышка. – Если мы говорим о «чистых» формах без вещей, то это ничто иное, как язык, речь. И геометрия – один из языков.

— Я думаю, это не совсем так, – осторожно начал Удав, покосившись на Попугая. Он явно смущался рассуждать о языке в присутствии Попугая, но все-таки продолжил. – Видишь ли, благодаря пространственным формам мы *видим* вещи, но и только.

— Что значит «и только»?

— Это значит, что геометрия располагает вещи в пространстве, то есть рядом друг с другом, не устанавливая никаких связей между ними. Так что с помощью геометрии мы не сможем ничего *понять* в вещах. Поэтому геометрия – скорее предпосылка для языка. Там, где кончается геометрия, начинается язык.

— Ну, а сама геометрия без всяких вещей – разве не язык? Чем отличаются слова от фигур? Разве те и другие – не «чистые» формы? – напирала Мартышка.

Удав только добродушно хохотнул и покачал головой.

— Ну, нет, уволь. Это все к Попугаю.

Попугай не заставил себя ждать:

— В одном отношении слова и фигуры действительно похожи. Ведь слова, как известно, различаются морфемами.

Но чтобы морфемы могли различать слова, они – морфемы – сами должны различаться с помощью фонем. Морфема только тогда является признаком слова, когда фонема является признаком морфемы, то есть признаком признака.

Мартышка хмыкнула:

— А я думала, что «признак признака» – закон геометрии.

— Да, а когда ты сказал, что мыслить – это соотносить признаки, я подумал, что это про геометрическое мышление, – добавил Удав. – А похоже, это просто про мышление...

— Фонемы вообще возможны только как признаки, связывающие морфемы. Мы просто не услышим отдельные звуки, если они не будут связывать морфемы. Не услышим «а» и «е», если они не будут связывать «ма» и «ме». Точно также мы не услышим «ма» и «ме», если они не будут различать «мама» и «маме». Фонемы и морфемы возникают одновременно как признаки и признаки признаков слова.

— Ага, – вникла из последних сил Мартышка, – значит, отношение морфем – это не отношение морфем, а отношение слов. А отношение фонем – не отношение фонем, а отношение морфем.

— И понимание речи – это соотнесение признаков, – досказал Удав.

Попугай так же легко и невозмутимо продолжал:

— И все-таки фигуры – не слова. Различие состоит в том, что фигуры, помимо признаков, имеют свойства. Поэтому они и могут быть формами восприятия. Поэтому они могут стоять рядом. Для фигур признак – это *определенное различие форм*, но формы не сводятся к признакам. Когда мы сравниваем три отрезка, дело обстоит не так, что третий отрезок является признаком второго, а второй – признаком первого, но каждая форма может быть взята как со стороны признака, так и со стороны свойства. У языковых форм нет свойств, а только признаки. Форма и есть признак.

— Ну да, ну да, – закивала Мартышка, – если отношение фонем – это отношение вовсе не фонем, а морфем – ясно, что фонема – признак и ничего больше.

— Не фонемы связаны между собой какими-то признаками, – кивнул и Удав, – а фонемы связывают морфемы. Очень странно устроен язык! – подумав, заключил Удав.

— Язык устроен иерархично, – отозвался Попугай. – Фонемы, морфемы и слова – это уровни языка. Один уровень служит признаком для другого. Поэтому-то в языке есть только признаки.

— То есть только связи и отношения...

— И эти связи и отношения и являются *мыслями*.